

Полевой П.



БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Россия державная

Петр Полевой

Братья-соперники

«Public Domain»

1890

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Полевой П. Н.

Братья-соперники / П. Н. Полевой — «Public Domain»,
1890 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-04059-7

Петр Николаевич Полевой (1839–1902) – писатель и историк, сын Николая Алексеевича Полевого. Закончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, где в дальнейшем преподавал; затем был доцентом в Новороссийском университете, наконец профессором Варшавского университета. В 1871 г. Полевой переселился в Санкт-Петербург, где занялся литературной деятельностью. В журналах публиковал много критических статей по истории русской литературы. В 1880-х гг. Полевой издавал «Живописное обозрение». Большой успех имели его «История русской литературы в очерках и биографиях» и «Учебная русская хрестоматия»; из беллетристики – многократно переизданные «Исторические рассказы и повести», а также романы «Государев кречотник», «Братья-соперники», «Корень зла», «Избранник Божий», «Под неотразимой десницей» и другие. Главные герои романа «Братья-соперники», публикуемого в этом томе, – двоюродные братья Голицыны, князя Борис и Василий, игравшие видную роль в государственной жизни России, но принадлежавшие к разным партиям: Борис Алексеевич – к партии Нарышкиных, выдвинувшей на трон Петра I, Василий Васильевич – к партии Милославских, поддерживавших царевну-правительницу Софью и ее брата Иоанна.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-04059-7

© Полевой П. Н., 1890

© Public Domain, 1890

Содержание

I	7
II	10
III	14
IV	18
V	22
VI	27
VII	32
VIII	37
IX	42
X	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Петр Николаевич Полевой

Братья-соперники

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011

© ООО «РИЦ Литература», 2011

* * *

I

Зима 1686 года в Москве была, что называется, «сиротская». Легкие морозцы перемежались частыми оттепелями, и уже к концу февраля согнали снег с кривых и узких улиц Белокаменной. Все ждали ранней весны: завернули холода, задули резкие ветры, повалил мокрый снег – грязь развело невылазную. Вот и апрель наступил и к половине стал близиться, а тепло все не приходило: даже ветлы стояли голые, и ни одна травка не показывалась из земли.

Дивились москвичи такой напасти: «В былые годы об эту пору лист развертывался в полушку, черемуха зацветала, а тут и похожего нет!» Но еще более москвичей дивились непогоде польские послы, уже второй месяц гостившие в Москве и напропалую ругавшие «пшеклентых москалей» за их ослиное упрямство и непомерную требовательность. Сидя в четырех стенах Посольского двора на Покровке, они с досадою вспоминали между собою, что «в их-то благословенной Польше или хоть бы в той же Литве – теперь суший рай: яблони и груши как снегом осыпаны цветом! Красота и аромат! А в Варшаве, пожалуй, уже отцвели и каштаны... а тут! Видно, сам Бог отвернулся от этих схизматиков – в насмешку дает им такую весну!» Но как ни досадно было, а приходилось сидеть в Москве и ждать у моря погоды.

А между тем Москва давно уже не видала такого блестящего посольства! Цвет польской знати был прислан королем Яном Собеским для переговоров с великими государями московскими о деле первостепенной важности: о заключении вечного мира и крепкого союза против врага всех христиан, турецкого султана. Во главе посольства стояли старые воины и опытные дипломаты: князь Марциан-Александр Огинский, великий канцлер Литовский, и Криштоф Гримультковский, воевода Познанский; а при них были в товарищах – князь Николай Огинский, мечник княжества Литовского, да Александр Присский, да знаменитый богач и красавец Александр-Ян Потоцкий, да свита человек из пятидесяти шляхтичей, все самых родовитых, из самых отборных и старых польских и литовских фамилий; да столько же гайдуков, слуг и всякой челяди. Секретарем при посольстве состоял тайный иезуит Бартоломей Меллер – тонкая лиса, на которую возлагались поляками большие надежды. И, несмотря на весь блеск посольства, несмотря на все полномочия, данные ему королем, дело подвигалось вперед черепашным ходом, бояре и думные люди ни на шаг не отступали от требований, предъявленных послам с самого начала переговоров, настаивали на уступке Киева России, а под конец еще добавили к условиям вечного мира весьма важную статью, которую решено было прочесть и обсудить в заседании, назначенном на 18 апреля.

В день, назначенный для этого решительного заседания, погода, казалось, была еще хуже, чем во все предшествующие дни. Мгла, сырая и непроглядная, с утра белым саваном повисла над Москвою и скрыла от глаз не только золотую шапку Ивана Великого и островерхие кровли кремлевских башен, но окутала даже главы кремлевских соборов, затянула даже причудливо раскрашенные и вызолоченные вышки царского Теремного дворца. Изредка, словно сквозь сито, сеял дождик, покрывая стены зданий сероватым, матовым оттенком сырости и насквозь пронизывая холодом боярских слуг и челядинцев, которые толклись в грязи на Ивановской площади, сплошь заставленной каретами, колымагами, колясками старых бояр и сотнями верховых коней. Продрогшие кони жались и ежились под своими попонами, щепетливо переступая ногами и потряхивая головой; люди кутались в армяки и полушубки, похлопывая рукавами и сердито поглядывая искоса на сторожевых стрельцов, которые в виде почетной охраны окружали посольские кареты и посольских челядинцев, так плотно укутанных в темные плащи с куколем, что из-под куколя видны были только носы да усы. Нигде – ни смеху, ни говору, ни обычных шуток и заигрываний; все были утомлены и голодны, потому что топтались на холоду и в грязи от раннего утра и напряженно сосредоточивали все свое внимание на Государевом дворе (насколько он был виден через решетку с площади), стараясь уловить признаки, пред-

вещавшие близкое окончание «боярского сиденья». Но этих-то именно признаков и не было видно. У ворот двора по-прежнему стояли караульные жильцы с бердышами и копьями, по двору степенно расхаживали стрелецкие десятники, поспешно перебегала от палат к палатам дворцовая служня, и с озабоченным видом шагали от приказов к дворцу и обратно подьячие с большими свитками столбцов под мышкою...

Под навесом главного дворцового крыльца, на широкой площадке, толпилась густая масса дворян, гостей и низших придворных – так называемых площадных. Здесь, на площадке-то, собственно и была главная биржа всех дворских слухов, вестей, интриг и сплетен. Все эти стольники, стряпчие и дворяне, собираясь сюда ежедневно, как на обязательную службу, толкались здесь иногда десятки лет, в ожидании «пожалования» должностью или «повышения» в своем дворском положении: все знали друг друга в лицо и могли один о другом рассказать всю подноготную. Понятно, что и в этот день на площадке главным предметом всех толков было то «сиденье с польскими послами», которое происходило в Ответной палате. Между отдельными группами шел такой оживленный и непрерывный говор, что общий гул его доносился даже и за ограду двора: несколько сот человек говорили вполголоса, и речь их сливалась в какое-то нестройное жужжание громадного растревоженного улья.

– И чего они там рассиживают, словно тесто в квашне! – слышалось в одной из групп. – Ну, порешили бы уж чем-нибудь разом да шли бы по домам щи хлебать!

– Ишь ты, прыток больно! Это ведь не Алтынного царя послы пришли, что можно сказать: «Поцелуй пробой да ступай домой!» Тут, брат, я думаю, у самого боярина Василья Голицына от дум-то голова трещит!.. А кажется, уж на все руки ловок?

– Что и говорить! Недаром братец-то его, кравчий Борис Алексеевич, себе в бороду посмеивается да поговаривает: «Как бы тут князь Василий себе шеи не свернул!»

– Свернуть не свернет, а повозиться с ними еще таки придется. Король Ян знал, кого в послах отправил!

– Да пойми же ты, Иван-свет, – слышалось в другой группе, – что нашим теперь уступить никак негоже! У великих государей осталось с королем Польским всего только девять перемирных лет, а поляки нас в войну с турецким султаном тянут... Вот им и предлагают.

– Что предлагают?.. – нетерпеливо перебил собеседника сановитый московский дворянин. – Предлагают такое, на что поляки ни в жисть не согласятся! Не лучше ли бы уже вовсе разойтись, чем столько времени в пустых речах проводить?

– Нельзя разойтись-то! Мы им теперь во как нужны. Кесарь-то римский на Польшу налег, чтоб в союз нас звала – нами правую руку у султана удержать хочет. Вот князь-то Василий Васильевич, – тут говоривший понизил голос, – и уперся на своем: коли хочешь вечного мира да союза – отдай нам Киев да Запороги...

– Ну вот под Киевом и сидим семь недель, ни разу не доспавши да не поевши вовремя...

– Какой там вечный мир с Польшей? Что они толкуют! – слышалось в третьей группе. – Лях русскому первый враг – хуже лютого татарина. По-моему, поваднее с татаринком на ляха идти, нежели с ляхом на татарина!

– Эх ты хватил! Настоящий хохол! Да ведь нам бы великий стыд и зазор учинился, кабы мы теперь от иных христианских государей отстали, потому и кесарь римский, и Вениция...

– Какие там христианские государи! Поди полюбуйся, что у нас под боком польский король делает! Все православие по Литве разорил и церкви Божьей от него житья нет! А тоже, поди, христианским государем слывет!

– Как поглядишь поближе на людей-то, братец мой, – перешептывались тем временем в дальнем углу площадки два старые дьяка, – ажно и страшно станет!словно звери лютые друг на друга смотрят – который которого в ключья разорвет! Ведь вот хоть бы и меж бояр-то наших, два братца – князя-то Голицыны! Князь Василий из сил выбивается, чтобы царевне

Софье потрафить; а князь-то Борис только того и смотрит, как бы его в луже утопить да царицу Наталью Кирилловну с царем Петром потешить...

Но тут дверь на верху крыльца хлопнула, и вся площадка смолкла разом... Из двери вышел на крыльцо думный дьяк Возницын, тучный и красный как рак, и стал поспешно спускаться по ступенькам, насколько позволяли ему его тучность и ослабевшие старые ноги. К нему, впрочем, тотчас же подскочило несколько человек знакомцев из числа стоявших на площадке, подхватили милостивца под руки и почтительно и бережно помогли ему сойти с крыльца, на пути его расспрашивая и на лету ловя отрывочные его фразы. И в то время как дьяк Возницын, грузно переваливаясь, поплелся через Государев двор, мимо соборов, к Приказам, площадка уже во всех концах гудела только что полученными свежими вестями. «Дело не клеится...» «Дьяка в Посольский приказ наспех послали...» «Сказки донских казаков о польских подговорах требуют...» «В Ответной палате духота такая, что хоть с ног вались...» «Поляки-то криком кричат, Бутурлин с паном Криштофом так было сцепились, что хоть водой разливай...»

Но минуем площадку, минуем заветную «преграду» дворцового крыльца, строго охраняемую дворцовым караулом, и чрез Золотую палату пройдем прямо туда, где в настоящую минуту вершится «дело государское» и ведутся «разговоры пространные» и «споры многие».

II

Посольская, или Ответная, палата, где обычно происходили переговоры бояр с иноземными послами, была не обширна, но зато отделана – на славу. Незадолго до приезда великих и полномочных послов ее всю подновили, а потолок расписали в ней синими облаками, по которым разметали частые золотые звезды. Стены палаты раскрасили под разноцветный мрамор, а поверх этого мрамора пустили серебряные травы с золотыми цветами. В двух углах палаты, на массивных львиных лапах, стояли печи из пестрых поливных изразцов. Пол палаты был устлан мягкими войлоками и цветными немецкими сукнами, а стены, кругом, до половины завешаны дорогими персидскими коврами. Кругом стен стояли рундуки и лавки, покрытые мягкими тюфьями, а в переднем углу поставлен был длинный стол на точеных золоченых ножках, с росписною доскою. Около стола – два богатых кресла, обитые заморскою золотною кожею, и несколько стульев и стульцев с подушками, обшитыми золотым кружевом. На стене в переднем углу висел небольшой деисус в богатой золотой ризме, усаженной крупными камнями, которые играли, переливаясь лучами при свете горевшей лампы; на двух других стенах, как раз противоположных, вывешены были писанные масляными красками *персоны* (или портреты) покойного царя Алексея Михайловича и польского короля Яна III Собеского – оба в резных золоченых рамах. Первый из этих портретов краем рамы почти прикрывал решетчатое окно *тайника*, из которого особы царского семейства нередко слушали посольские речи.

В переднем углу, по обе стороны стола, заседали польские послы и бояре, назначенные быть с ними «в ответе». На первом месте сидел ближний боярин князь Василий Васильевич Голицын, «царственные большие печати и государственных посольских дел оберегатель» – высокий, статный мужчина лет сорока пяти, с замечательно умным, приятным и выразительным лицом. Рядом с ним – ближние бояре: Борис Петрович Шереметев да Иван Васильевич Бутурлин; далее – ближние окольничие Скуратов и Чаадаев. Рядом с князем Голицыным стоял первый делец Московского государства, думный дьяк Посольского приказа Емельян Игнатьевич Украинцев, человек весьма пожилой, с большою проседею в длинной и жидкой бороде.

По другую сторону стола, на первом месте, помещался князь Марциан Огинский – старик лет под семьдесят, седой и величавый; рядом с ним сидел его товарищ, Криштоф Гримультовский – типичный представитель коронного шляхетства, полный, атлетически сложенный мужчина, с огромными русыми усами, упавшими на бархатный контуш, с энергичными движениями и весьма выразительною мимикой. Далее помещались около стола почетнейшие представители свиты посла – младший Огинский, Потоцкий и Присский. Между Марцианом Огинским и Гримультовским (как раз напротив Украинцева), почтительно нагибаясь то к канцлеру, то к воеводе, стоял секретарь польского посольства, Бартоломей Меллер, человек самых тонких светских манер, мягкий и вкрадчивый в обращении.

В глубине палаты, на лавках около стен, чинно и неподвижно сидели, по одну сторону, думные дворяне в своих длинных и величавых станových кафтанах, а по другую – польские шляхтичи, в роскошных контушах с откидными рукавами, в пестрых поясах, расшитых шелками, и в щегольских сафьянных сапогах, подбитых серебряными подковами. По бокам входной двери, завешенной тяжелым ковром, словно два каменных изваяния, стояли, опершись на саженные протазаны, два жильца в красных кафтанах и в бархатных шапках, опушенных сободем.

Палата была освещена очень скудно, десятью небольшими окошками. Да и откуда было взяться свету? Сквозь частый фигурный свинцовый переплет и расписную слюду с надворья проникал в палату только сумрак и, казалось, на всех и на все налагал свой оттенок. Притом в палате, по русскому обычаю жарко натопленной, было душно и смрадно: в воздухе стоял пар от дыхания и пота присутствовавших, заседавших уже несколько часов сряду.

И все заседавшие были утомлены, изнурены тягостным «сиденьем». И с польских послов, и с бояр градом катился пот. Князь Голицын и князь Огинский внимательно прислушивались к горячему спору, завязавшемуся между Гримультовским и Бутурлиным, между тем как Украинцев, вытянув ладонь левой руки и положив на нее узкий и длинный листок бумаги, быстро и четко записывал в столбец посольские речи, то и дело помакивая перо в чернильницу, привешенную к поясу.

Гримультовский говорил с каким-то особенным, напускным пафосом.

– Уступает крулевское величество и Речь Посполитая *Москевским* государям навечно города – Чернигов, Стародуб, Новград-Северский, Глухов, Батурин, Нежин, Полтаву и всю Малую Россию – а вам все замало!.. Вам пул крулевства нужно! То не можно, Панове.

Бутурлин отвечал ему не менее запальчиво:

– Пусть ваше при вас и останется! Вы нам только наше-то верните! Киев – святая отчина и дедина нашим великим государям, «мати городов Русских»! А вашего полкоролевства нам не нужно...

– Прошу наияснейшего пана великого печатника, чтобы повелел еще раз нам читать из вашей грамоты, как там о Киеве написано? – обратился Гримультовский к Голицыну.

Оберегатель кивнул головою в сторону дьяка Украинцева, и тот истово, толково и внятно прочел следующее:

– «...Да на той стороне реки Днепра, богоспасаемый град Киев, с Печерским и Межигорским и с иными монастыри... Тако ж и вниз реки Днепра от Киева до Кадака, и тот город Кадак, и Запорожский Кош, город Сечу и даже до Черного леса и до Черного ж моря со всеми земли и реки, и речки, и угоды, чем исстари владели запорожцы, и с...»

Князь Огинский не дослушал и, обращаясь к Голицыну, сказал:

– В великом-то у меня есть подивлении, пан великий печатник, что вы уже совсем в наши рубежи вобрались!..

– Любительно прошу вашу милость, брата моего, – спокойно и с достоинством отвечал Голицын, – прошу припомнить, что его величество король Польский по Журавинским договорам уже уступил всю Украину турецкому салтану, а салтан Турский переуступил Киев и украинские города и все Запорожье в сторону царского величества. О каких же *ваших рубежах*, ваша милость, изволишь говорить?

Огинский, не ожидавший этого возражения, не нашелся ничего ответить, а Голицын продолжал:

– Киева в польскую сторону никак отдать нельзя и не будет отдан, потому у малороссийского народа с поляками за утеснение веры и за другие обиды великие ссоры и брани идут, и никогда успокоения ожидать нельзя. О каком же вечном мире рассуждать станем, коли своих братьев вам на утеснение отдадим? Если же король польский уступит царским величествам город Киев и Приднепровье по тот рубеж, какой у нас в грамоте указан, то их царские величества готовы и вечный мир заключить, и в союзе с королем войну против крымского хана вести.

Вопрос поставлен был так ясно, что дальше и обсуждать было нечего. Удар нанесен был метко и сильно. Голицын это сознавал, и в то время, когда в палате на мгновение водворилось молчание, а польские послы стали о чем-то перешептываться между собою, Голицын невольно поднял взоры к портрету царя Алексея Михайловича; он чувствовал, что из-за его резной рамы, сквозь частую решетку тайника на него приветливо смотрят чьи-то черные, пламенные очи...

Молчание нарушил Гримультовский:

– Ясновельможный пан печатник упомянул об обидах великих и ссорах и бранях между малороссийским и польским народом, которые будто бы, не уступив Киев, и примирить не можно. Объяви, ваша милость, в чем, *на пишклад*, обиды?

Вместо Голицына Гримультовскому стал опять-таки возражать Бутурлин, которому Обегатель охотно уступал слово в этом споре, припасая к концу свой веский довод.

– Пан воевода, немудрено нам будет объяснить тебе польские обиды к малороссийскому народу и за прикладами ходить недалече. Еще недавно присыланы с польской стороны на Украину через лазутчиков прелестные письма, и те лазутчики все изыманы, и пытаны, и в своем воровстве повинились. А коли хочешь больше знать, так вот гетман Иван Самойлович доносит, что в приднепровские города даже и чернецов с польской стороны пускать не велел, опасаясь от них всякой смуты, да он же Самойлович и жалуется, что поляки, за его верность великим государям, многажды его всячески извести хотели...

Гримультовский круто повернулся в своем кресле и резко перебил боярина Бутурлина:

– Вельможный пан воевода Бутурлин, как видно, позабыл, что *concordia parvae res crescunt, discordia et maximae dilabuntur!*¹ Позабыл, вельможный пан, что мы здесь собрались к договариванью о вечном мире и союзе и можем слушать только то, что к святому покою обоим государствам надлежит, а не противности и покой нарушающие речи!..

– Какому тут быть святому покою, когда с Украины вопль до Москвы доходит от ваших утеснений святой нашей Церкви! Вот, полюбуйся, пан воевода, что в Посольский приказ пишет князь Гедеон Четвертинский, что в Луцке епископом был!..

– Что же он может писать? Зачем ему верить? Он королевскому величеству изменник, перебежчик!

– И всякий побежит, пан воевода, как станут приневоливать в римскую веру либо в униаты. Недаром же он и епархию бросил, и от доходов отказался, и живет теперь простым иноком в Батурине. Лучше уж в Батурине укрыться, чем на вечное заточение в Мариенбург угодить!

Тут Гримультовский, Потоцкий и Огинский-младший разом так громко заговорили и по-польски, и по-русски и так яростно стали возражать Бутурлину, что Голицын попросил князя Марциана унять крикунов и, когда восстановлено было молчание, сказал совершенно спокойно и твердо:

– На все то противное и вредительное братской любви между государством Московским и коруною Польскою, о чем боярин Иван Васильевич Бутурлин пану воеводе высказал, присланы нам подлинные письма епископа Луцкого и гетмана Ивана Самойловича, которые здесь под рукою могут быть панам послам предъявлены...

Поляки молча переглянулись между собою и пожали плечами.

– Но ясновельможный пан Гримультовский был прав, – продолжал Голицын, – напомнив нам, что мы здесь собрались совещаться об умножении крепчайшей между великими государствами дружбы и к тому должны всяких средств и способов изыскивать. В этих видах великие государи положили его королевское величество умильно просить, дабы во всей коруне Польской и великом княжестве Литовском всем живущим людям греко-российского закона никакого утеснения не чинить... Емельян Игнатьевич, прочти это место в грамоте...

Украинцев отложил столбец на стол, перо заложил за ухо и, взяв со стола грамоту, прочел в ней следующее:

– «Всем живущим людям утеснения не чинить и чинить не велесть; но, по давним правам, во всяких свободах и вольностях церковных блюсти...»

– Вот чего добиваются проклятые схизматики! – прошипел на ухо Гримультовскому Бартоломей Меллер.

– «А благословение и рукоположенье, и постановление всему духовенству православному, которое в Польше и Литве обретается, принимать в богоспасаемом граде Киеве, от преосвященного киевского митрополита без всякого препинания и вредительства...»

¹ При согласии и малые дела растут, несогласие и большие разрушает (*лат.*). – Ред.

Послы польские так и привскочили на своих местах. Между ними явственно послышался шепот:

– Так вот для чего москалям Киев нужен! Москали и нас хотят окрестить в свою схизму!

Но Огинский подал знак, и говор смолк. Положив руку на королевскую грамоту, великий канцлер обратился к Голицыну и сказал дрожащим от волнения голосом:

– Вижу, что нам не придется нашего святого дела завершить и к общему добру вместе поднять оружие на врагов всего христианства. *Але* одно скажу милости вашей, брату моему, и вам, панове воеводы государства Московского, что *ежели* враги Церкви Божьей, турки и татары, цезаря римского и круля Польского *зничтожат*, то потом и на нас встанут войною, и вам с ними воевать будет трудно.

Голицын не дал Огинскому закончить и сказал строго и чинно:

– Таких речей, милость ваша, нам здесь вести непригоже. Государство у их царских величеств пространное и многолюдное и оборониться от всяких врагов может, ни у кого не прося ни союза, ни помощи. И я прошу у твоей милости прямого ответа на главные статьи договора, о вечном мире...

– Прямого ответа? – отозвался Огинский сухо и холодно. – Пан-секретариуш! Пиши, что я тебе укажу!

Бартоломей Меллер и Украинцев разом взялись за перья; а в палате воцарилась такая тишина, как будто все притаили дыхание. Огинский продиктовал:

– «Наияснейшего и великого государя Яна III Божию милостью круля Польского, великого князя Литовского, Русского и иных, его величества канцлер великий Марциан-Александр князь с Козельска Огинский, Мстибовский, Радишовский, Сидричинский и проч. староста – на уступку Киева Московскому государству не изволяем».

В окне тайника ярким пламенем блеснули те же черные глаза, и за решеткой его занавеска задернулась так порывисто, что князь Голицын явственно расслышал, как звякнули кольца занавески о медный прут. Послы и свита их поднялись со своих мест, за ними встали все сидевшие «в ответе». Поляки обменялись с боярами чинным и холодным поклоном и горделиво вышли из палаты.

Взор, брошенный вослед им Голицыным с товарищами, был слишком красноречив и выразителен.

III

«Большой двор» князя Василия Васильевича Голицына занимал, недалеко от Кремля, лучшую часть Белого города, между Тверскою и Дмитровкою, как раз против Моисеевского монастыря. Но палат князя Василия с Тверской не было видно, потому что все его владение было обнесено высокой каменной стеной; из-за нее протягивались на улицу зеленые ветви вековых густолиственных лип, кленов и ясеней, среди которых только местами выступали вышки и кровли боярского дома, крытые заморским белым железом, да возвышался купол церкви Живоначального Воскресения, построенный во дворе князя Василия, направо от въездных ворот, выходивших на Тверскую.

Эти ворота представляли собою целое здание, с жильем наверху, с высокою черепичною кровлею, над которою высился большой железный прапор (флюгер) с гербом Голицыных. Тяжелые дубовые створы ворот, обитые лужеными гвоздями и вырезными скобами, отпирались настежь только для хозяев дома и почетнейших гостей, пользовавшихся правом въезда во двор княжих палат. Все остальные смертные должны были входить во двор калиткою, оставляя верховых коней и повозки на улице около коновязей, нарочно для того устроенных вдоль всего забора княжеского двора.

Вошедшему на двор налево бросались в глаза широкие крытые крыльца боярских палат, направо – расписная паперть надворной церкви, соединенной особыми переходами на столбах с главным домом. За церковь тянулся огромный флигель оружейной и конюшенной палаты – домашний арсенал и склад конской сбруи, – и громадные конюшни, в которых постоянно стояло не менее полутораста коней, всяких мастей и пород, от белых как снег высоких голштинских возников до приземистых иноходцев и степных аргамаков. Налево, против оружейной, тянулось огромное здание общей людской палаты, под которою помещались каретные сараи и особые конюшни для самых дорогих и любимых княжеских коней. Далее, среди зелени, виднелись крыши и трубы мастерских палат и всяких остальных служб.

На дворе, конечно, было вечное движение, потому что в усадьбе князя Василия постоянно жило по меньшей мере 300–400 человек всякого рода слуг, мастеровых, подручников, приспешников, приживальщиков, стариков и захребетников. На половине супруги князя, княгини Авдотьи Ивановны, тоже было не меньше сотни всяких служанок, сенных девушек, мастериц, старух, богомолиц, юродивых, карлиц и дурак. Каждый даже и самый последний из слуг князя Василия понимал его значение и силу, понимал, что «за его спиной, как за каменной стеной» можно жить припеваючи и делать все, что вздумается, не опасаясь ни спросу, ни сыску. Часть этой праздной и сытой челяди вечно толпилась и балагурила за воротами, благодаря этому по Тверской, даже среди бела дня, не было ни проходу, ни проезду от буйства и грубых шуток голицынской дворни, которая не давала спуска ни конному, ни пешему; а под вечер... все предпочитали объезжать княжие палаты окольным, но менее опасным путем.

Но с тех пор, как третьего дня князь Василий вернулся из дворца темнее грозовой тучи, весь дом, весь многолюдный двор его словно замер. Ни толпы за воротами, ни шума, ни движения во дворе... Все наострили уши и вытянулись в струнку. В дворне только шепотом передавали друг другу на ухо, что князь в тот день не обедал и не ужинал и никого даже из семейных к себе не допускал. На другой день князь не поехал ни во дворец, ни в Приказы, сказался больным, даже посылал за дохтуром-немцем в Немецкую слободу и с тем немцем беседовал более часа.

На третий день, рано утром, к князю явился за приказаниями дьяк Украинцев. Встреченный на крыльце низкими поклонами многочисленной челяди, он тотчас был проведен особыми сенями, обитыми червчатым английским сукном, прямо в шатровую палату князя.

Шатровая палата была любимым домашним покоем князя Василия. Название свое она получила от того, что потолок ее имел вид купола. В нем было пробито несколько круглых проемов, забранных слюдяными оконцами. Сверх того палата освещалась целым рядом небольших стекольчатых окон, выходивших в сад. Стены этого покоя были обтянуты красным сукном, а снизу, в виде широкой панели, почти в рост человека обиты немецкими золочеными кожами и расписными холстами в золоченых рамах. На этой панели очень красиво выделялись черные резного дела немецкие шкафы и пузатые комоды, с серебряными кольцами и скобками и черные стулья с подушками, обитыми алым бархатом. У двух стен стояли два стола с врезанными в них оловянными узорами и личинами. Над одним из столов, на стене, висели французские часы без гирь, в футляре с перламутром и бронзой, а по бокам стола два зеркала в роскошных рамах с серебряными фигурами и углами. На противоположной стене красовался целый ряд немецких гравюр за стеклом и в рамах. Убранство палаты дополняли высеребранные шанданы (канделябры) на стенах и хрустальное виницийское паникадило (люстра), с цветными подвесками, спускавшееся с середины купола.

Весь передний угол палаты блистал и горел богатейшими иконами в золотых и серебряных ризах, осыпанных камнями, золочеными киотами, янтарными крестами, ценными панатгиями и складнями – дарами, приношениями и благословениями, которые сыпались на Оберегателя со всех концов России и ежегодно переполняли «крестовые палаты» князя, княгини и их семейства.

Дьяк, войдя в палату, застал князя Василия в кресле у стола, с толстым фолиантом в руках; Украинцеву показалось, что за два дня князь Василий успел и побледнеть, и похудеть. Перекрестившись на иконы и отвесив князю обычный поясной поклон, дьяк осведомился о здравии.

– Телом здоров, Емельян Игнатьевич, а духом немощен! Каковы у тебя вести?.. Не утешись ли чем?

– Добрых вестей нет. Куранты² вчера из Смоленска получены – так и в них тоже ничего для нас подходящего не пишут. А послы-то польские – точно, что в дорогу собираются... Поговаривают, будто завтра хотят просить, чтобы поскорее «у руки» быть.

Князь сердито топнул ногой и отвернулся. Помолчав немного, он снова обратился к дьяку с вопросом:

– А тем-то путем ты их обойти не пробовал?

– Как не пробовать, князь-батюшка, когда ты мне сам приказал! Посылал я к этому Варфоломею Меллеру и пристава нашего (уж на что продувной малый!), и немку одну из Немецкой слободы подставлял (а ведь эти езовиты до женского пола во как люты!), так нет же: все неймет! «Я, говорит, своего короля ни за какие тысячи не продам». А слышно, этот самый Варфоломей душою Огинского, как своим майонтком³, владеет.

– Ну как же быть теперь, по твоему-то разумению? – спросил князь, пристально взглядываясь в умное лицо опытного дьяка. И сразу понял, что задал напрасный вопрос: лицо Емельяна Игнатьевича выражало такое недоумение.

– Задержать бы их немного... – решил он только процедить сквозь зубы. – Узнать бы, что за вести им гонец привез?..

– Какой гонец? Когда? Что ж ты мне не скажешь!.. – вскрикнул князь, вскакивая с места.

– Прошу прощенья, запомятовал... А вести-то, должно быть, немаловажные; потому что послы того гонца тотчас на ключ в чулане заперли и стерегут...

– И неужели же ты, старая, ношенная птица, не мог узнать... подкупить... подслушать?

² Переведенные на русский язык выписки из иностранных газет.

³ Имением.

– Государь мой милостивый, – отозвался несколько обиженным тоном Украинцев, – все подкуплено! Каждый шаг их ведом: трижды в день доклады с Покровки получаю. А как же ты узнаешь, какую грамоту послы с гонцом получили, когда они ее, запершись, промеж себя читать станут? Да кабы ту грамотку и в руках держать – что проку? Писана цифирью – без ихней азбуки не разберешь. Чай сам ведаешь, как крюками пишут? На всякое дело свой крюк! Знаю только, милостивец...

– Ну, ну, что знаешь? – говори скорей.

– Знаю, что, получивши вести от гонца, послы велели всем готовиться к отъезду и наспех в путь собираться... И вся их шляхта на радостях перепилась до страсти! Сам Потоцкий в пляс пустился... Так вот подзадержать бы, милостивец...

– У тебя, Емельян Игнатьевич, всегда одна песня! Позадержать бы... позамедлить! Да ведь это не грамота, не писаная отповедь, что под сукно положить можно, а живые люди! Если их «к руке» не допускать подольше, так хуже может выйти – «без руки» уедут! Им не дороги подарки! А ежели уедут, не справив дела, да ежели без нас салтана одолеют – что скажут наши приятели, соседушки-то Преображенские? Что зашипят Нарышкины да Шереметевы, да Черкасские, да Долгорукие?! Как станет надо мной глумиться братец-то почтенный, Борис-то Алексеевич! А? Да они меня со свету сживут!..

Дьяк упорно и сосредоточенно молчал; он очень хорошо понимал, в какую опасную и трудную игру играл Оберегатель; а зная характер князя Василия, еще лучше понимал, что советовать в данную минуту было опасно.

Между тем Голицын, пройдясь несколько раз по палате, успел совладать с собою настолько, что мог уже сказать Украинцеву совершенно спокойным голосом:

– Я и сегодня не поеду во дворец. Жду дохтура – так и скажи там, на Верху, чтоб знали. А сам зайди ко мне сегодня под вечер, попозже, ты мне будешь нужен.

Украинцев низенько поклонился князю Василию и вышел из палаты. Он хорошо понял, что Оберегатель принял какое-то важное решение. Но какое?.. Это даже и умному Емельяну Игнатьевичу не приходило в голову.

Тотчас по удалении Украинцева Голицын свистнул. Вошел старый дворецкий Кириллыч.

– Никого не принимать до моего приказа! Обедать мне велишь подать в моей столовой. Да распорядись ко мне послать Куземку.

Дворецкий поклонился, но не уходил, переминаясь с ноги на ногу на пороге.

– Ну что тебе еще?

– Матушка княгиня Авдотья Ивановна приказала у милости твоей о многолетнем здравии спросить; а сын твой Алексей, князь Васильевич, твоих пресветлых очей видеть желает.

– Попозже... некогда теперь... А княгине передай, что мне полегчало... помог-де дохтур-немец травным зельем. Так посылай живей Куземку!

Дворецкий поклонился молча и удалился неслышными шагами.

Несколько минут спустя в сенях послышались скрип сапог и легкий кашель.

– Войди! – крикнул князь Василий.

На пороге появился высокий сухощавый человек лет пятидесяти, смуглый и рябой, с целой копной черных волос на голове, с курчавой бородкой, в которой кое-где серебрилась седина. Большие серые глаза – глаза хищной птицы – зорко и смело глядели из-под густых нависших бровей. На нем был вишневый суконный чекмень, подтянутый щегольским черкесским поясом с серебряными бляхами; а из-под чекменя выглядывало лазоревое тафтяное полукафтанье с серебряными пуговицами. В руках он держал суконный колпак, отороченный пухом. Это и был Куземка Крылов, старший ловчий князя, пользовавшийся большим доверием.

– Съезди к Гваксанию! За тем же дохтуром-немчином. Проведешь его через часовню! Да мигом будь обратно!

Куземка отличался тем, что ему не нужно было повторять приказаний.

IV

Гваксаний, итальянец по происхождению, светский иезуит и иезуитский агент по профессии, давно уже поселился в Москве, где жил под видом флоренского купца. В 1685 году, воспользовавшись пребыванием в Москве цесарского посла Курцея, Гваксаний при его посредстве купил даже дом в Немецкой слободе и приготовил гнездо для иезуитов в Белокаменной. К нему в том же году пробрался из-за польского рубежа иезуит Шмит, который, пользуясь кое-какими сведениями в медицине и выдавая себя за дохтура, сумел втереться в дома влиятельнейших лиц и прежде всего, конечно, вошел в сношения с Оберегателем. Он привлек внимание Голицына тонким умом, блестящим светским образованием и основательными сведениями в различных областях знаний. В беседах своих с князем Василием Шмит не скрывал того, что он принадлежит по религиозным убеждениям к ордену иезуитов; с пафосом, достойным превосходного актера, рассказывал он о могуществе и всемирном значении ордена и не упускал случая искренне пожалеть о том, что только в Россию еще закрыт иезуитам путь. Князь Василий все это слушал и мотал на ус; он видел в Шмите ловкого агента, которым можно будет воспользоваться в дипломатических сношениях с Европой, и не приказывал тревожить «дохтура» слишком пристальным надзором за его деятельностью. А эта деятельность особенно усилилась с тех пор, как прибыло в Москву польское посольство и при нем в секретарях – Бартоломей Меллер, один из важных иезуитских агентов, совершенно опутавший старшего Огинского. Меллер и Шмит по целым вечерам проводили вместе в каких-то тайных совещаниях, и уже после первых заседаний с послами Шмит дерзнул предложить Голицыну свое посредничество...

Князь Василий отклонил его довольно сурово. Шмит стушевался и не показывался на глаза Оберегателю до тех пор, пока в день полной «разрухи» с послами Голицын сам о нем вспомнил. Тогда уж Шмит, явившись, предложил свои условия. Князь Василий не дал ему никакого ответа и сказал, что подумает... На том они и расстались. И действительно, он выжидал весь следующий день. Через Украинцева и агентов Посольского приказа он пустил в ход все пружины, которыми, казалось, можно было повернуть дело на настоящий путь и побудить Огинского к возобновлению переговоров. Но все усилия ни к чему не привели, а ждать не хватало силы... Отовсюду приходили вести недобрые – враги Оберегателя уже торжествовали заранее его несомненную неудачу; а двоюродный брат его, князь Борис Алексеевич Голицын, не стесняясь, осмеивал дипломатические уловки и тонкости, пущенные в ход князем Василием в переговорах с поляками и все же окончившиеся «разрухой».

Князь Василий, от ранней юности избалованный счастьем, привыкший к легкой удаче и к легкой наживе, выросший и созревший среди интриг и ожесточенной борьбы дворских партий, беспощадно губивших друг друга, рано был вознесен на вершину славы прихотливой судьбой. Между тем как другие около него боролись и гибли, то проливая кровь, то пачкаясь в грязи, он сумел, не запятнанный ничем, вознестись над всеми, только благодаря своему уму, своим блестящим способностям и обворожительному умению всех прельщать и всем нравиться. Сблизившись с царевной Софьей, он стал первым из первых вельмож в государстве. И вот теперь, когда царевна ожидала, что он, как и всегда, восторжествует над всеми препятствиями и прославит ее имя заключением выгоднейшего мира с Польшей, его надежды вдруг готовы были рушиться... Он понимал, что, если послы уедут, не закончив «вечного мира», все обвинят в неудаче его, Оберегателя, позабыв все его прежние заслуги, все закричат, что, мол, управление делами Посольского приказа не его ума дело!.. «А то скажет, что подумает царевна, привыкшая ему верить!..» При этих мыслях вся кровь бросалась в голову князю Василию; он судорожно сжимал кулак, грозя какому-то незримому врагу.

– Нет! Будь что будет! Поневоле пойдешь окольной дорожкой, коли нельзя идти прямым путем... А там с помощью царевны сумеем как-нибудь поправить дело и схоронить концы в воду!

Часа три прошло с тех пор, как Куземка поехал за дохтуром. Князь Василий после обеда не пошел отдыхать – ему не до отдыха было! Он заперся на ключ в своей шатровой палате и тревожно ходил по ней взад и вперед, углубленный в думы.

Вдруг послышался легкий стук в стене. Князь нажал пружину в панели: одна из расписных рам откинулась и обнаружила скрытую за шпалерами потайную дверку. Князь Василий отпер дверь висевшим на его поясе ключом и сказал вполголоса: «Входи».

Дверь тихо скрипнула, и в нее, сгорбившись и наклонив голову, вошел Куземка Крылов, ведя за руку дохтура-немца, закутанного в плащ с башлыком, надвинутым на самый подбородок.

Куземка помог дохтуру раскутаться и исчез за дверкой, а рама сама собою стала на прежнее место.

Когда Шмит (а это был он), ослепленный светом палаты, протер себе глаза и осмотрелся кругом, то увидел пред собою князя за столом, в роскошном кресле, обитом яркою камкою.

Шмит поспешил раскланяться и почтительно приблизился к князю. Это был маленький человечек с весьма заурядной физиономией, гладко выбритый, живой и подвижный. Он был одет не только опрятно, но даже щеголевато в черный, немецкого покроя кафтан и камзол, изпод которого выставлялась наружу тонкая батистовая манишка.

Когда князь Василий указал ему на стул около себя, Шмит расшаркался и сказал очень кстати какую-то любезность по-латыни.

Голицын ответил ему на том же языке, и весь дальнейший разговор продолжался по-латыни, так как князь владел этим языком в совершенстве.

– Ваша высокоименитость, конечно, призвали меня потому, что обдумали мои условия и желаете изъявить на них согласие? – вкрадчиво и сладко проговорил иезуит.

– Вы человек умный и сметливый! – отвечал ему князь с улыбкой. – Но прежде моего согласия на ваши условия я желал бы знать, чем я могу быть обеспечен в успешном исходе моих переговоров с вами?

– Высокоименитый князь Огинский, полномочный посол его величества короля Польского, ревнуя ко благу святой Римско-католической церкви и преклоняясь перед могуществом ордена Иисусова, передал мне на сегодняшний день все свои полномочия, а потому вы, князь, можете трактовать со мною, как с самим князем Марцианом. В удостоверении этого он вручил мне и свою княжескую печать, доверив приложить ее к тому документу, который мы заключим с вами.

И Шмит, сняв перчатку, показал князю Василию драгоценный золотой перстень с гербом Огинским, осыпанный крупными сапфирами, изумрудами и рубинами.

– Какой же документ мы с вами заключим?

– Документ, в котором будет от имени князя Огинского выражено, что он желает возобновить с вами переговоры о вечном мире и союзе против турок, соглашаясь на предложенные вами условия.

– И на уступку Киева, и на условие о киевской митрополии?!

– На все условия вашей грамоты...

Глаза Голицына на мгновение загорелись торжеством победы, но затем его брови насупились, во взоре выразилось недоверие, и на устах мелькнула даже насмешливая улыбка.

– Видно, тот гонец, о приезде которого вы не сказали мне ни слова, привез князю Огинскому не слишком приятные новости?

– О приезде гонца, – спокойно отвечал Шмит, – я никак не мог сообщить вашей высокоименитости, потому что он приехал третьего дня в ночь, как раз в то время, когда я был у

вас. К сожалению, я ничего не могу сказать вам и о вестях, привезенных гонцом, потому что их не знаю; но я, впрочем, уполномочен показать вам документ, заготовленный на тот случай, если бы мы с вами не поладили сегодня...

Шмит бережно вынул из кармана листок бумаги, обернутый в зеленую тафту, и почтительно подал его князю Василию. То было официальное извещение Посольского приказа о том, что послы его королевского величества не могут долее оставаться в Москве и просят о назначении дня...

Как ни старался князь быть спокойным, но ему большого труда стоило не скомкать этот официальный акт, на котором была четко выставлена подпись Огинского.

Шмит внимательно следил за выражением его лица.

– Как изволите видеть, ваша высокоименитость, мои полномочия налицо. А в ваших мы не сомневаемся: мы знаем, что имеем дело с могущественнейшим вельможею Московии, удостоенным высокого доверия державной правительницы. Притом мои условия такие скромные, такие исполнимые...

– Но я ведь выставял уже вам на вид, что если бы даже царица на них согласилась, то патриарх никогда не даст своего согласия.

– Я имел уже честь вам докладывать, что его согласие нам не нужно, что мы поведем свое дело тихонько и скромненько. Мы никого не станем силою принуждать к признанию правоты наших догматов, не будем гласно проповедовать... Да притом ведь святейший отец патриарх не бессмертен! Ведь рано или поздно он будет же заменен другим лицом более просв... более мягким и веротерпимым, которое, может быть, не захочет гнать бедных иезуитов? Я повторяю вам: нам нужно только ваше согласие...

Оберегатель, слушая доводы Шмита, видимо, что-то соображал и наконец спросил его:

– Но в каком же виде я могу вам выразить мое согласие?

– В виде простого письма к папскому нунцию в Вене, в котором вы только упомянете, что не станете теснить нас. А впрочем, если вам угодно, я даже заготовил это письмо, и вам стоит только подписать его.

И Шмит, изгибаясь, подал князю неизвестно откуда явившееся в руках его письмо к нунцию, в котором он, Оберегатель, от своего лица, конфиденциально извещал нунция, что иезуиту Шмиту разрешено устроить в Москве, в доме Гваксания, домашнюю церковь, пригласить в помощь священника иезуитского же ордена и открыть при церкви школу для русского юношества.

И между тем как князь Голицын читал это письмо, Шмит вкрадчиво и подобострастно ему нашептывал:

– Вам только стоит подписать это письмо и приложить к нему печать!.. И я тотчас же вручу вам собственноручное письмо Огинского о возобновлении переговоров.

На минуту князь Василий испытал странное впечатление: ему почудилось, что сам дьявол в образе Шмита стоит над его душою и подсовывает ему свое рукописание... Но затем ему пришли на память его прежние думы, в ушах раздались насмешки его врагов, и он сказал себе: «А ну хоть бы и сам дьявол был! Еще молоды! Авось отмолимся! Главное – врагов одолеть, супостатов! Раздавить их – „преклонить под нозе”».

И он быстро взял со стола большое лебяжье перо, обмакнул его в чернильницу и четко вывел под письмом к нунцию свою полную подпись. Затем, положив на него свою большую, красивую руку и обернувшись к Шмиту, повелительно произнес:

– Давайте письмо Огинского!

Шмит передал ему письмо канцлера, в котором тот очень любезно извещал Оберегателя, что хотя послы уже и совсем изготавились к отъезду, но он не прочь возобновить переговоры, «не желая столь великого, славного, прибыльного дела оставить и своих трудов туне потерять».

Голицын не мог прийти в себя от изумления и восторга.

– Ставьте скорее печать! – торопил он иезуита.

– С величайшим удовольствием, но покажите мне пример, – язвительно заметил иезуит, указывая на письмо к нунцию.

Князь Василий снял с руки перстень с печатью и оттиснул его на готовой восковой лепешке, привешенной к письму.

То же сделал и Шмит на письме канцлера к Оберегателю и, подавая его левою рукою, правую протянул за письмом к нунцию.

Получив его, он почтительно поцеловал руку князя, потом подпись его на письме и, бережно засовывая письмо во внутренний карман камзола, произнес торжественно:

– Великодушный поступок, достойный вечных похвал и признательности потомства! Позвольте мне в свою очередь пожелать вашей высокоименитости, чтобы заключенный вами вечный мир с Польшей заслужил вам прозвание *Великого* в истории вашей страны!..

И вдруг, как бы в ответ на эту фразу, на улице раздались свист, хохот, крик, топот бешеной скачки, стук колес и звяканье колоколыцев. Какая то пьяная ватага с визгом, песнями и присвистом подкатила к воротам дома князя Василия и стала не стесняясь стучать в них что есть мочи.

Князь Голицын, поспешно открыв потайную дверь и передав иезуита на руки Куземке, захлопнул дверку и задвинул ее рамой, затем он отпер двери палаты в сени.

Перед ним как из земли вырос старый Кириллыч:

– Что там за шум?

– Братец твой, боярин князь Борис Алексеевич к тебе с гостями в гости пожаловал. На пяти тройках прикатили. Прикажешь ли принять?

А между тем стук в ворота и шум все усиливались; явственно слышались то громкий хохот, то крепкая ругань.

– Вели отпереть ворота, прими князя Бориса Алексеевича с почетом; да сыну скажи, чтобы шел встречать его на верхнюю ступеньку. Пусть просит их пожаловать в свою столовую палату. Да ключников пришли ко мне скорее!

И между тем как старик опрометью бросился исполнять приказания, князь Василий вернулся в шатровую палату, запер письмо Огинского в кованный ларец устюцкого дела и, горделиво выпрямившись, высоко подняв голову, почти вслух произнес:

– Ну кстати ты пожаловал, гость дорогой! Есть чем перед тобой похвастать! Теперь посмотрим – чья возьмет.

V

Когда старый Кириллыч передал молодому князю Алексею Васильевичу приказания его батюшки, тот поспешил гостям навстречу, приказав слугам отпереть свою столовую палату и все в ней приготовить для приема. В то время как толпа слуг чинно выстраивалась по обе стороны ворот и по ступенькам крыльца, а воротные сторожа отмыкали железные засовы и открывали настежь обе створчатые половинки, князь Алексей стоял на верхней ступеньке крыльца, с некоторой тревогой прислушиваясь к нестройному гаму приехавшей хмельной братии. Воспитанный под строгим началом и еще не испорченный жизнью, этот двадцатилетний юноша хотя и занимал уже видное положение при дворе благодаря отцу, но не в отца был недалек, не боек на слова и ненаходчив; а потому он не любил бывать «на людях», всему на свете предпочитал охоту с соколами и терпеть не мог веселых пиров и шумных празднеств. И вдруг ему поручено принять хмельных гостей, играть роль хозяина...

Но вот ворота распахнулись настежь, и три лихие тройки, взмыленные до ушей и окруженные целым облаком пара, подкатили к крыльцу, звеня бубенцами и колокольцами и позвякивая богатым набором сбруи. Слуги стали высаживать бояр из колымаг и почтительно взводить их на крыльцо, поддерживая с двух сторон под мышки, между тем как Кириллыч, стоя на нижней ступени лестницы, отвешивал каждому гостю низкие поклоны и перед всеми извинялся в том, что их, мол, так долго задержали у ворот.

Тут был князь Борис Алексеевич Голицын с двумя братьями, князь Юрий Ромодановский, князь Юрий Трубецкой, да князя Куракин и Щербатый, да боярин Исай Квашнин, да человек пять-шесть окольных, и все из первой знати. Виднее и бодрее всех на вид были князь Борис и Ромодановский – высокие, здоровенные, плечистые мужчины, сложенные богатырями и недаром прославленные во всей Москве своими пьянственными подвигами.

Всех на верху крыльца с поклонами встречал князь Алексей Васильевич и всем повторял то же стереотипное приветствие:

– Милости просим, гости дорогие, добро пожаловать!..

– Здорово, Алешка! – кричал ему еще снизу князь Борис Алексеевич. – Что вы с отцом спать, что ли, полегли? У нас у всех нутро горит – медку холодненького до смерти хочется, а вы у ворот держите... Смотри, брат, я это тебе припомню, как ко мне приедешь! Хе! Хе!

– Прощенья просим, дядюшка! Отцу второй день неможется, так никого он и принимать не велел; вот холопи-то и не посмели, вишь, без спросу... Да и признали вас не сразу...

– Холопи, братец, не признали нас затем, что мы не в своем виде! Так, что ли? Ха, ха, ха! Ну что ж, племянничек – и точно: хмельны! Ну и во славу Божию! Да полно целоваться – веди скорей в столовую палату!

Но это было легче сказать, чем выполнить, потому что каждый встречаемый князем Алексеем гость лез к нему с объятиями, с лобызаниями, с расспросами и, не слушая ответов, начинал без всякой видимой причины смеяться и задавать новые вопросы.

Наконец между двумя рядами слуг, поставленных по обе стороны сеней и отвешивавших низкие поклоны, гости с великим шумом, с непрерывающимся говором и смехом прошли на половину князя Алексея Васильевича, еще недавно только законченную отделкой, так как князь Василий собирался вскоре женить сына и уже высмотрел ему невесту в богатой и родовой семье боярина Ивана Квашнина.

На пороге столовой палаты князь Алексей опять встречал гостей, всем кланяясь, и всем опять твердил все то же, что и прежде: «Добро пожаловать к нам, гости дорогие!»

Как ни были хмельны многие из приехавших гостей, но все, переступив порог столовой князя Алексея, остановились, сбились в кучу и залюбовались красотой высокого, причудливо отделанного двухсветного покоя.

В верхнем поясу палаты пробито было двенадцать круглых окон с оконницами из белых цветных стекол; в нижнем поясу – двенадцать окон с оконницами из фигурной мелкой слюды. По стенам и потолку вся палата была обита выписными заморскими шпалерами, изображавшими человеческие и птичьи и звериные персоны. В простенках между нижними окнами повешены были зеркала в резных золоченых рамах; а на другой, противоположной от входа стороне висело большое зеркало в черной раме и по сторонам – другие два, поменьше, в черепаховом окладе. На месте поставца, обычного во всех тогдашних столовых, стоял превосходный резной ореховый шкаф, в стиле Возрождения, с представленными резьбой сценами охотничьей жизни и фигурами зверей, а направо, налево от входа, на особых возвышениях, поставлены были два органа. По стенам, где не было зеркал, развешаны были в золоченых рамах писанные масляными красками картины, изображавшие библейские притчи и гравированные портреты европейских государей, и между ними на первом плане, на почетнейшем месте – портреты короля Польского и его королевы, присланные в подарок Оберегателю.

Вся мебель в палате – столы и столики, кресла и стулья – была ореховая, под стать резному шкафу, и была покрыта около стен темно-зеленым трипом, а посредине, около стола, косматым бархатом того же цвета. Только по углам для игроков-любителей поставлены были расписные столики с тавлейными досками. Убранство палаты дополнялось фигурным оловянным паникадиллом, спускавшимся на цепочке над столом, и высокими английскими стенными часами в углу.

Все гости были в первый раз в палате, и все ее хвалили хором:

– Ну, брат Алешенька, балует же тебя отец! Какую он тебе палату соорудил! Да этакой и в Теремном дворце не найдешь, пожалуй, не токмо что в наших старых домишках! Ай да палата!

Но князь Борис и на этот раз смутил племянника:

– Ну точно, хороша твоя палата! Видим, что красна углами, а красна ли другим чем? Показывай, каков хозяин у палаты?

Князь Алексей беспомощно заметался из стороны в сторону, не зная, какие распоряжения сделаны на этот счет отцом: но на выручку юноши явился сам князь Василий.

В ферязи из голубой дорожчатой камки, подтянутой кованым серебряным поясом с крупными яхонтами в больших выпуклых гнездах, в мурмолке с запоной из бурмицких зерен, князь Василий вошел в палату боковой дверью и с приветливой улыбкой подошел к гостям, которые все обратились к нему, кто с объятиями и лобзаниями, кто с дружеским приветом. Один только князь Юрий Трубецкой не тронулся с места по той простой причине, что он как вошел в палату, так грузно опустился на первый попавшийся стул и заснул непробудным богатырским сном.

– Поклон вам, дорогие гости! Спасибо, что не обошли моего убогого домишка.

– Ну, князь, не обессудь – не хотели мимо проехать! – говорил Голицыну, плохо владея языком, князь Константин Щербатый.

– Не обессудьте вы, что долго вам не отпирали ворот! Князь Алексей, да что же ты гостей ничем не потчешь? Пошевелись да поторопи холопей!

– Чего там обессудить? Знаем, почему не отпирали! – сказал князь Борис, выдвигаясь на передний план и отводя рукою князя Щербатого. – Племяш-то мой недаром проговорился!

– Что, братец, мог тебе сказать Алешка?

– То и сказал: холопьям-де тебя не признать было, потому... не в своем ты виде, дядя, в люди ездись!

– Не верится мне, братец, чтобы Алеша так сказал... Шутить изволишь! – с улыбкой отозвался князь Василий.

– Чего шутить! И точно, что не в своем виде! Алеша прав... Я, точно, пьяница всем известный! Давно во всей Москве прославлен! Кто чем, а я все этим грешен... И от вина меня трудно отвадить или оберечь, коли я запил...

– Зачем оберегать-то, князь Борис? По-моему, и пей во здравие, коли пьется... Ты знаешь, «пьян да умен»...

– А тебе небось и любо, что я пьян! – отозвался князь Борис, видимо, придираясь к князю Василию. – Любо? Ну да я ведь ума-то не пропью... Меня и во хмелю не скоро обойдешь! И на твои приманки не скоро поддамся – не как другие...

– А знаешь, где мы так наугощались? – заговорили разом, обращаясь к князю Василию, старинные его друзья Головины и князь Федор Куракин.

– Да, верно, вот у кого? – ответил князь Василий, подмигивая на князя Юрия Ромодановского, который стоял с ним рядом, упершись в бока, и с небрежением поглядывал на охмелевшую братию. – Князь Юрий мастер угостить! Со всеми пьет и всех положит лоском, а сам стоит, как столб, – не ворохнется.

– Нет, нет, не угадал, Оберегатель! – вступился снова князь Борис. – Нас всех употчивал твой зятенек, князь Трубецкой, да он же сманил нас и к тебе поехать.

– Спасибо, князю Юрию! Да где же он сам?

– Вон, вон он! – раздалось со всех сторон, среди общего взрыва хохота. – Поил, поил нас и теперь за всех нас приехал к тебе спать!

Но между тем, как все окружили князя Трубецкого и тщетно старались разбудить его, дверь палаты отворилась и следом за Кириллычем, попарно, чинно вошли в палату десять человек холопей, неся корчаги с льдом и ведерные оловянки со всевозможными квасами: малиновым, вишневым, грушевым и яблочным; за ними так же чинно шли другие десять человек, неся в серебряных братинах мед липовый, черемховый, гвоздичный; за ними еще пятеро несли на расписных подносах массивные серебряные сосуды и серебряные торели с моченою морошкой и яблоками, сливами в уксусе и лимонами в сахаре. Аромат внесенных прохладительных напитков тотчас привлек гостей к столу, уже покрытому скатертью и уставленному ковшами, стопками и достаканами. Усадив гостей по старшинству и сану, а с собой рядом посадив князя Юрия Ромодановского да боярина Исая Квашнина, князь Василий сел на хозяйском месте. Против него уселись три его двоюродных брата: князь Борис, Иван и Яков Алексеичи Голицыны. Князь Алексей Васильевич в качестве хозяина дома сначала распорядился, чтобы князь Юрий Трубецкой был отнесен в опочивальню, а затем и не присел к столу, а все ходил кругом и потчевал гостей, кланяясь особо перед каждым. Но гости и не заставили себя просить: холодные квасы и мед пришлись им по нутру и стали осушаться так быстро, что расторопные слуги еле поспевали удовлетворять всех, то и дело подливая холодного питья в ковши и достаканы. Все так дружно и так жадно набросились на прохладительное, что даже перестали шуметь и смеяться: слышны были только вздохи да возгласы: «Давай еще!» или «Вот квас так квас!», «А мед каков!». И снова криканье, и вздохи, и звяканье ковшей о достаканы.

– А почему ж ты думал, что напились мы у Ромодановского Юшки? – спросил князь Борис у князя Василия, когда первый приступ жажды был утолен и гости обратились к фруктам и моченью.

– Да думал, уж не он ли вас зазвал справлять канун кануна именин своих?

– Нет! Нет! – крикнуло несколько голосов. – Нас к себе князь Юрий Ромодановский не заманит! Нам памятно остались именины!..

– Когда? Какие? Что такое? – забасил князь Юрий, обращая в сторону кричавших свое неподвижное багрово-красное лицо и поглядывая искоса своими маленькими, заплывшими черными глазками.

– Небось забыл? – крикнул ему князь Иван Алексеич Голицын. – Мы собрались к нему, как добрые, к обеду, – продолжал он, обращаясь к князю Василию, – ну и понагрузились; ужинать остались; спать полегли, и утром, поотрезваясь, хотели было в путь. А он и говорит: «Держать не смею, гости дорогие, дела делами, поезжайте с Богом... Да только вы едва ли проберетесь нынче через мой двор!» И точно: сунулся там кто-то на крыльцо, а ему навстречу –

медведь! Он на другие, и там косматый дьявол! Да так три дня нас и держал в усадьбе, покамест мы весь погреб не осушили!.. Ха! Ха! Ха! Вот он каков!

– Шутка недурная! – заметил князь Василий.

– Все небывальщину плетут! – пробасил князь Ромодановский. – Им и медведи, чай, причудились от перепоя?

Все, конечно, на него напали и стали вспоминать в виде доказательств о таких эпизодах трехдневной богатырской попойки, что князь Алексей поспешно подошел к иконам и, набожно перекрестясь, задернул их завесой. А между тем среди общего шума и смеха слуги, исполняя приказания Кириллыча, не дремали. Убрав ковши, стопы и достаканы, они расставили перед гостями чарки и кружки, а на столе явились три громадные мисы с «кипяченым зельем» – горячим вином, приправленным пряностями, корицей, гвоздикой, кардамоном и ванилью. В то же время по знаку князя Василия, который очень мало принимал участия в попойке, но очень зорко следил за тем, чтобы гости пили, у органов явились играцы и раздалась громкая торжественная музыка какого-то немецкого застольного гимна, покрывшая резкими звуками труб и густыми нотами фаготов нестройный шум и гам разгоравшейся попойки...

А вслед за «кипяченым зельем» князь Василий стал хвастать князю Борису и князю Ромодановскому своим погребным запасом. Слуги то и дело разносили в кубках то романею, то алкан, то мушкатель, то мальвазию, то сладкое катнарское вино, как редкость присланное Оберегателю в подарок гетманом Иваном Самойловичем. Но чем более хмелели гости, чем веселее становились их говор и смех, тем резче и яснее бросалось в глаза князю Василию явное намерение князя Бориса затеять ссору, вызвать Оберегателя на объяснение. То он порицал намерение царевны Софьи вступить в союз с кесарем и Польшей против султана и крымцев, то привязывался к словам, то прямо говорил, что и не ждет порядка, покамест «баба делами правит».

– Князь Борис, – заметил ему на это князь Василий, – между нами здесь нет предателей, не донесут; а все же негоже нам эти речи слушать...

– Дивлюсь я тебе, князь Василий! – сказал на это князь Борис. – Умен, хитер и ловок ты, и мастер на все руки, а не можешь понять того, что и малому ребенку ясно? И все слепит тебя твоя гордыня! Она тебя и сгубит, коль не опомнишься да не отстанешь от милославского отродья!

– Да уймись же, князь Борис! Я говорю тебе: негоже мне эти речи в моем доме слушать!

– Негоже? Да разве я тебе обязан потрафлять да ластиться к тебе! Пусть перед тобою другие ползают... А я еще не то скажу тебе!

– Да полно вам, князья! – вступился было князь Куракин. – Ну о чем тут спорить? Мы все здесь великим государям верные и преданные слуги... И вас обоих – ей-богу – уважаем...

– Нет! – крикнул князь Борис. – Знаю я, какую песню пою, знаю и кому пою! Не все мы великим государям верные слуги... Да если правду-то сказать, так ведь из государей царь Иоанн ни во веки веков не будет править; царевнины часы изочтены – ну три-четыре года ей еще повластвовать... А там...

– Должно быть, так у Нарышкиных в Преображенском порешено? – резко перебил Бориса князь Василий. – Да и тебе так петъ заказано?

– Ты колешь мне глаза Нарышкиными? Пусть так! Знай: я дружу им, я в случае чего... готов за них стоять! Я грудью защищать их стану! Иль ты забыл, что от Нарышкиной растет у нас законный государь? Да ведь еще какой! Разумник, богатырь! Надежа наша и крепость! А ты кому дружишь? Ты за кого стоишь?

Князь Василий поднялся со своего места и крикнул громко:

– Алеша! Выйди вон и выведи холопей!

Затем, обратившись к князю Борису, сказал с волнением:

– О каком *законном государе* ты говорить изволишь? У нас *нет государя*, а есть государи, и есть при них державная сестра их, *государыня-царевна*, а мы рабы их, всем должны равно служить.

– Красно поешь, князь Василий! Да подыгрыш не тот берешь на гусях! Давно ль царевна-то *державною* стала? Кто ей вручил державу? Уж не ты ли?

– Ты верно позабыл, как все мы... весь народ просил ее принять державство?..

– Должно быть, ты забыл, что мы не дети здесь собрались? Все помним мы, как было дело, – и лучше уж о том не вспоминать... Да не к тому речь! Я знаю, *кому* ты служишь!..

– Князь Борис, не ты один, все знают, что я верою и правдою служу великим государям и государыне царевне!

– Ну пусть будет так! А я все же, князья и бояре, предлагаю выпить кубок во здравие и честь моего питомца, великого государя Петра Алексеевича – и да разразит Господь всех его врагов и супостатов!

– Нет, я с тобой не пью! – громко крикнул князь Василий. – И я тебе напомню, что ты здесь гость, а не хозяин...

– Не пьешь? – сказал князь Борис, поднимаясь со своего места и ставя кубок на стол. – Ну так знай же, что отныне у нас с тобой все врозь! Вижу, что мы разными дорогами идем и не сойдемся больше *никогда*! А чтобы ты не зазнавался, не возносился пред людьми, так на прощанье вот тебе мой сказ! Ты говоришь, что служишь верою и правдою великим государям и государыне царевне? А я тебе скажу, что служишь ты себе, своей утробе – мамоне служишь!

И он, не простясь с хозяином, шатаясь, направился к двери, а князь Василий по уходе его поднялся с места и сказал гостям:

– Дорогие гости, предлагаю выпить во здравие великих государей и государыни царевны Софьи Алексеевны!

Все гости встали с мест, все кубки разом поднялись и осушились.

– Эй, Кириллыч! – крикнул князь Василий, стараясь скрыть свое волнение. – Давай еще вина нам! Да песенников, плясунов сюда! Живее! Чтобы шли с волынками, с зурнами, с бубном... Пусть гостей моих потешат!

VI

Ссора, происшедшая между князем Василием Васильевичем и его двоюродным братом, князем Борисом Алексеевичем, не была простою случайностью: она готовилась уже издавна и, несмотря на продолжавшиеся, по-видимому, родственные отношения, должна была рано или поздно разразиться. И Василий, и Борис Голицыны – дети родных братьев – принадлежали одинаково к одному из знаменитейших княжеских родов и одинаково выдавались в ряду остальных вельмож обширным умом и замечательными своими способностями. Будучи почти ровесниками, они оба получили по тому времени хорошее образование, оба почти одновременно начали службу при дворе «тишайшего» царя Алексея Михайловича, и оба стали быстро возвышаться по ступеням дворской и служебной лестницы; оба, почти одновременно, достигли боярства в царствование царя Федора Алексеевича. Тесная дружба связывала в ту пору князей Бориса и Василия, которые умели ценить друг друга и с одинаковою неприязнью и суровым осуждением относились к тем непорядкам и нестроениям, которые видели кругом себя в русской жизни. Дружбу братьев несколько охладила женитьба князя Бориса на княжне Марье Федоровне Хворостининой, которая до замужества была приезжею боярыней при царице Наталье Кирилловне и еще в девичестве очень с нею сдружилась. Жена умная, молодая и красивая привлекла, конечно, и мужа на сторону несчастной вдовствующей царицы, когда по воцарении Федора Алексеевича та очутилась в таком печальном положении среди царского семейства, недружелюбно относившегося к мачехе. Царь Федор, благоволивший к Борису Алексеевичу, назначил его воспитателем к малолетнему царевичу Петру. Уже тогда Борис и Василий Голицыны очутились как бы на двух разных берегах: один откровенно и прямо держал сторону Нарышкиных и сына Нарышкиной, царевича Петра; другой, не выказывая неприязни к Нарышкиным, держался, однако же, более партии Милославских, хотя предпочтение, которое он им оказывал, и не могло выражаться слишком явно, потому что большую часть царствования Федора князь Василий Васильевич Голицын провел на юге России – в Киеве, в Путивле, в Севске и Чигирине, – то сражаясь против татар и турок, то улаживая раздоры и смуты в Малороссии. Тут-то и выказал он свои блестящие дипломатические способности и задумал провести обширный план реформ, который должен был начаться с введения новых порядков и лучшего устройства в войсках, а кончиться – сожжением местнических книг, по повелению царя Федора и решению собора, воспрещавшего дальнейшие местнические счеты «под страхом клятвы и смертной казни». И когда князю Василию, несмотря на все препятствия и озлобления против него старейших боярских родов, удалось провести это трудное дело в жизнь – князь Борис радовался его успехам, гордился братом своим и не завидовал его быстрому возвышению и обогащению. Но уже во время болезни царя Федора князь Борис заметил, что князь Василий сблизился с Софией, очаровал ее и овладел ее сердцем... Заметил и то, что князь Василий стал отдаляться от него – даже явно избегать его... Он не помешал, однако же, Борису и партии Нарышкиных возвести на престол малолетнего царевича Петра, помимо старшего, болезненного Иоанна; а немного спустя не помешал и партии Милославских, с Софией во главе, разыграть страшную трагикомедию майских дней 1682 года и, по воле Софии, вдруг стал первым вельможею в Московском государстве. Он сумел обойти заговоры обеих партий, сумел выйти сух из воды и чист из крови; сумел всего добиться одною игрою ума и холодного, спокойного расчета... Но умный и прямой Борис не поддавался соблазну, не захотел пасть ниц перед Ваалом! Он предвидел, что рано или поздно партиям Петра и Софии еще придется столкнуться и вступить в борьбу и что при той борьбе уже нельзя будет пустить в ход *игру ума*, а нужно будет прямо идти против присяги, против клятвы... Между братьями наступило охлаждение, а потом глухая вражда. Князь Борис не упускал случая вызвать князя Василия на

неприятные для него объяснения и наконец добился ссоры и разрыва, давно уже назревших в сердце братьев-соперников.

«Ну Бог тебе судья! – подумал князь Борис, покидая дом князя Василия. – Но я клянусь всеми святыми, что сумею охранить царское детище от твоей царевны!»

«Оно и лучше, что мы с ним сшиблись наконец, – думал со своей стороны и князь Василий. – Пусть каждый идет своею дорогою! Но князь Борис напрасно думает, что мы ему уступим поле!.. Посмотрим, чья возьмет!»

И в этих мыслях он на другое утро поехал во дворец, к обычному утреннему приему, до ранней обедни. Когда его карета, запряженная шестериком караковых одномастных коней, подкатила к воротам государева дворца и он, поддерживаемый своими служилыми гайдуками, степенно вышел из кареты, а затем, сняв шапку, твердой мерной поступью направился через двор к Постельному крыльцу, – на *площадке* произошли смятение и давка: так все усердно спешили очистить дорогу Оберегателю. Величаво и приветливо кивая головою на обе стороны в ответ на низкие поклоны площадных придворных, князь Василий поднялся на крыльцо, вошел в широко распахнувшиеся двери и направился, всюду встречаемый низкими поклонами, на половину царевен, соединенную с каменным корпусом теремного дворца особыми переходами. Здесь, в трехэтажном здании, недавно отстроенном и отделанном после пожара, была устроена «комната», где царевна София Алексеевна ежедневно принимала бояр для сиденья с ними и слушания всяких дел. Перед этою «комнатною» была *передняя* (по-нашему: приемная), в которой князь Василий нашел всех комнатных и ближних бояр в сборе. Бояре ждали выхода царевны, которая принимала доклад от Шакловитого, служившего дьяком в Приказе тайных дел. Князя Василия окружали, осыпали приветствиями, поздравлениями с успешным окончанием переговоров, расспросами о здоровье и лестью во всех видах и способах проявления. У князя Василия для всех и на все был готовый ответ и либо острое, либо ласковое слово; но он спешил отделаться от докучных расспросов и, пользуясь правом входа в «комнату» без доклада, прямо вошел к царевне...

В палате, убранной довольно просто, но роскошно расписанной «притчами» и сценами из жития Пресвятой Богородицы, на богатом резном и золоченом кресле с высокою спинкою сидела царевна София и внимательно слушала то, что читал ей дьяк Шакловитый – высокий и плечистый темноволосый мужчина лет тридцати пяти, с большими и выразительными карими глазами и резкими чертами лица, в которых явно сказывалось его малороссийское происхождение. Он был одет в цветной охабень с двойными серебряными нашивками и решетчатými серебряными пуговицами; платье сидело на нем ловко и щеголевато обрисовывало его крепкую и видную фигуру.

Царевна София была одета в темно-мосоковую алтабасную ферязь с жемчужными пуговицами и в такой же треух, опушенный соболем и едва прикрывавший ее роскошные волосы. Цвет материи ее наряда до некоторой степени смягчал излишнюю смуглоту ее лица и сглаживал значительную полноту всего ее стана. Царевна была далеко не красавица: темноволосая, с огненными черными глазами и мощно развитыми формами, рано созревшая, как и все брюнетки, она казалась гораздо старше своих лет⁴, и при первом взгляде ее наружность не производила приятного впечатления. В лице ее было что-то жесткое и суровое, а во всей ее внешности слишком много силы и мало женственности; но когда она начинала говорить, то сдвигая, то поднимая свои густые черные брови, когда она от времени до времени скрашивала речь своею прекрасною приветливою улыбкой и глазам придавала бархатную мягкость и негу, она казалась очень привлекательною и могла нравиться. Глубокий и сильный взгляд ее умных глаз, полных огня и страсти, способных выражать малейшее движение ее тревожной души, надолго оставался в памяти тех, кому случалось видеть царевну хоть раз в жизни.

⁴ Ей в это время было 29 лет.

Царевна София встретила Оберегателя приветливо и допустила к руке. Дьяк Шакловитый прекратил чтение «памяти» и, низко поклонившись Голицыну, отошел почтительно в сторону.

– Здоров ли ты, князь Василий? Два дня сряду я за тобой посылала, и два дня мне докладывали, что ты со своего «большого двора» никуда не съезжаешь и у дохтура-немца лечишься.

– По просьбе моей, истинно тебе дьяк Украинцев докладывал, великая государыня. Крепко мне недужилось... Да уже позволь мне, верному слуге твоему, всю правду молвить: если б и здоров был, не посмел бы перед твои светлы очи предстать, не исполнив дела государственного...

– Князь Василий, твое усердие нам ведомо, но ведомо и то, что не всякую службу и при усердии сослужить можно. Однако вижу по лицу твоему, что ты сегодня с добрыми вестями пришел. Готова слушать...

– Великая государыня-царевна, послы его королевского величества короля Яна Польского после вчерашнего сиденья нашего на все наши договорные статьи согласие изъявили. Когда угодно тебе повелеть боярскому сиденью быть и весь договор о вечном мире прослушать и одобрить?

София поднялась со своего места, перекрестилась на иконы и, сложив на высокой груди свои красивые руки, проговорила:

– Благодарение и хвала Создателю в Троице славимой! Великое свершилось дело! Недаром потеряны труды, и неисчислима польза, Российскому царству принесенная!

Затем, опустившись в кресло, София обратила лицо свое в сторону Шакловитого и, вся сияя радостью женщины, гордой успехами любимого человека, сказала:

– Каков наш князь Василий! Какую одержал победу! Да мы сто лет боролись с Польшей: кровь проливали и разоренья сколько приняли – а такой прибыли и славы державе нашей не приобрели, какую князь Василий одним своим умом взял? Федор Леонтьевич, наведи в Посольском приказе справки о том, как великие государи в прежние годы за такую службу жаловали, чтобы и нам от них не отстать и даже превзойти их в щедрости на столько, на сколько и служба ближнего нашего боярина и Оберегателя превосходит все прежние посольские службы!

– Если дозволишь, государыня, мне слово молвить, – сказал Шакловитый, – то я скажу одно: радуюсь за прибыль и славу Русского царства и за поправление польской гордыни, достигнутое радетельною службою и великим умом князя Василия Васильевича Голицына, но еще того более радуюсь за поправление злых наветов со стороны твоих недругов, великая государыня! Теперь придется им, пожалуй, и прикусить язык!

– Я, чай, они уж верить не хотели тому, что мы одолеем упрямых ляхов!

– Вчерась князь Михаил Черкасский прямо говорил в твоей передней, что польские послы уедут, что не будет мира с Польшей и весь тот неуспех от нерадения князя Васильева...

Оберегатель улыбнулся, а София с гордым сознанием достоинства сказала:

– Вот завтра и услышат в думе о «неуспехе», которого добился князь Василий «нерадением»... Завтра с великими государями-братьями моими и с государем патриархом, и с ближними боярами и думными людьми мы будем слушать договор о вечном мире и союзе с Польшей и его одобрим. Так всем и объяви сегодня, Федор Леонтьевич; да сейчас ступай добудь мне справки из Посольского приказа.

Шакловитый поклонился царевне и вышел из комнаты и переднюю; София и князь Василий остались наедине.

София взглянула прямо в глаза своему любимцу и спросила его:

– Ты писал, князь Василий, что должен мне открыться на каком-то деле, предупредить о чьих-то кознях? Говори же скорее!

– Государыня-царевна, раб твой виноват перед тобою в лукавстве...

– В каком лукавстве? – тревожно переспросила София, насунив брови. Ей пришли в голову те сомнения, которые так часто терзают всякое любящее сердце.

– Искусил меня лукавый в сношениях с поляками, и я, радея о твоём успехе, покривил душою...

– А, да! Ты о поляках... – сказала София, проясняясь. – Так что же? Расскажи, какими чарами ты их заколдовал?

– Понадеявшись на милость твою, решился дать обещание езовитам... от себя, а не от имени великих государей... что им препятствия не будет в Москве.

– Да разве ты не знаешь, князь Василий, что патриарх на это не даст согласия? А без него не только ты, но даже и я не могу того им разрешить!

– Знаю, государыня-царевна, но тут все дело было в их руках проклятых! Послы уже сладились к отъезду, уже уложились в путь и мне прислали извещение о том. Тогда я вздумал, что лучше лишний грех приму на душу, да лишь бы дело государственное не истерять да ворогам твоим, Преображенским, рот замазать!

– Спасибо, князь Василий, за службу верную. В тебе я не ошиблась! Но расскажи, как было дело и что ты обещал?

Голицын в двух словах объяснил Софии всю историю своих отношений к Шмиту, изложил его «скромные» требования и рассказал о своём письме к нунцию.

– И только-то всего? – спросила София, видимо, облегченная и обрадованная. – И за это ты выманил у них такой договор. Таковую учинил свободу православной церкви от римского утеснения! В чем же тут лукавство против нас? Тут против них лукавство!

– Суди как хочешь, государыня! А я так мыслил, что, если б на меня и все поднялись, если б мне и головою за это дело поплатиться, оно еще не скоро наружу выйдет; а договор-то завтра будет уже подписан и останется навечно утвержденным. Но я не дерзнул от тебя укрывать все это!

– Ты правильно судил, Василий. Да если б ты и был виновен – ты знаешь, что повинной головы меч не сечет. Но я все же в толк не возьму, что этим езовитам нужно? Что им за прок иметь здесь церковь и школу? Ну, сам посуди, кого они туда заманят?

– Они все это строят, царевна, для гордости одной, для прославления панежского. «Вот, – говорят, – у нас в Китае попы уж сколько лет живут, и только еще в Российском государстве гнезда у нас не свиты». Так и пытаются... А если правду-то сказать, что это за гнездо? Сосуд скудельный! Не угодят тебе, так завтра же велишь их взять за приставы да за рубеж перевезти...

– И вестимо! А покамест их никто не видит и не слышит – пускай живут. Ты только прикажи за ними наблюдать, чтобы с Польшею каких не учинилось пересылок... Так это-то и есть те козни, о которых ты писал мне?

– Нет, государыня. Те козни пострашнее. Был у меня Бориско да спьяну мне наказывал таких чудес...

– А, вот что? Верно, то, что ему «медведица» преображенская надула в уши!

– Не без того, великая государыня! Он все на том настаивал, зачем я твою руку держу, а не руку «законного» царя.

– Ах он, крамольник, о каком законном царе смеет он говорить? Да он у меня в Сибири места не найдет! – гневно заговорила Софья, изменяясь в лице от негодования.

– Дозволь сказать мне слово, государыня. Бориске мы должны сказать спасибо за откровение его. Пускай его прямит тому царю, который кажется ему законным! Но дело вот в чем: Нарышкины ему напели, что «твои часы изочтены».

– Что ж? Известь меня хотят они, что ли? Или какой предел мне положить?

– Нет, государыня, не к тому они речь клонят! А к тому, что, мол, государю Петру Алексеевичу уже скоро можно будет вручить бразды правления...

– Мальчишке?! Где же ему править: у него лишь игры на уме, да конюхи потешные, да барабаны... Не вижу я, чтоб из него и после вышел какой толк. Недаром люди говорят, что его матушка еще недавно в Смоленске у себя в лаптях ходила! Оттого и сыну дает холопскими потехами тешиться!

Голицын спокойно выслушал весь этот поток слов гневной царевны и затем сказал:

– А все же, великая государыня, от Нарышкиных можно всякою худа ожидать, и я бы думал, что следует принять кое-какие меры!..

– Давно я это думаю, – мрачно сказала Софья, предполагая, что Голицын угадывает ее тайные замыслы, – и есть у меня люди, готовые на дело...

Голицын поспешно перебил ее:

– Нет, государыня, я не о том... теперь еще не время... Да и дай Бог избежать крови! Мне думается, что их проще можно убедить и в силе, и в крепости твоей...

– Что ж ты придумал?

– По-моему, теперь, при заключении вечного замирения с Польшей, следует тебе яко правительнице при отпуске послов явиться, допустить их к руке, а затем велеть себя вписать в титул договора. Если против того никто не возразит, то мы во все концы Российского государства от имени и твоего, и великих государей разошлем извещение о благополучном окончании переговоров с Польшей и о союзе с нею, и тогда все увидят, что царский титул преумножен и твоим именем!

– Ну а дальше что же?

– А далее, когда привыкнут видеть твое имя рядом с именами государей малолетних и к правлению неспособных, то уразумеют, чьей мудростью достаются столь прибыльные для Российского государства приобретения, уразумеют, кто Русскою землею правит, и должно будет...

– Ну, ну, что должно будет?..

– Тебе венчаться вместе с братьями на царство...

Софья пристально и вдумчиво посмотрела в лицо любимцу своему.

– А братья?

– Тебе они не могут быть помехой! Не им тягаться в уме с тобой, государыня! Один пусть тешится конями, а другой – потешными огнями да солдатами... Ты будешь править как державная царица – и кто же тогда посмеет разинуть рот?

– Спасибо, князь Василий, за службу верную и за совет. Но мы об этом с тобою поговорим еще сегодня вечером. Ты сделай вид, что просишься на именины... Уж, верно, есть Юрий в родне?.. Я объявлю поход в Новодевичий монастырь к вечерне... И жди меня на своем Загородном дворе.

Князь Василий низко поклонился царевне и вышел из комнаты в переднюю, где выхода царевны уже так давно ожидали бояре и вельможи. Широко распахнув дверь, он громко провозгласил:

– Государыня царица София Алексеевна изволит жаловать в переднюю.

Затем стал обок двери и вместе со всеми остальными боярами почтительно и низко поклонился, касаясь перстами пола, между тем как Софья, шурша тяжелым шелковым нарядом, с царственным величием переступила порог и входила в палату.

VII

Добрый совет Оберегателя был принят царевною к сведению и применен на деле. Три дня спустя трактат, в титуле которого красовалось имя царевны Софии наряду с именами братьев, был подписан, и затем списки его разменены обеими сторонами. В тот же день братья-цари подтвердили его в присутствии всех бояр и вельмож торжественною присягою в Грановитой палате, перед самими послами, и послам объявлен был отпуск.

На другой день, 27 апреля, по царскому указу послы были «приватным обычаем» приглашены *в комнату* – и были «у руки» государей, которые спрашивали послов о здоровье через думного дьяка Украинцева, угощали их вином и пили за здоровье королевское. Затем, против всех дворских обычаев былого времени, послы допущены были к руке и царевны Софии Алексеевны, которая сказала им от себя краткое приветствие и сама жаловала кубками с вином.

Под вечер этого дня, когда улицы Москвы начинали уже пустеть и Белокаменная стала затихать, отдыхая от дневной суеты, какой-то всадник, закутанный в кобеняк с высоко поднятым воротником, в бархатной шапке, нахлобученной на глаза, подъехал мелкой рысцей к воротам Спасского монастыря, что за Иконным рядом на Никольской улице, соскочил с коня и брякнул воротным кольцом.

Воротный сторож окликнул его и, вероятно, тотчас узнал по голосу, потому что поспешно распахнул калитку настежь и, отвесив низкий поклон, проговорил:

– Пожалуй, батюшка, пожалуй, милостивец! А о лошадке не изволь тревожиться: поставим к месту и обережем.

И он принял повод из рук приезжего, который, не останавливаясь в воротах, прошел сначала в левый угол двора, а потом, видимо, знакомый с местностью, направился по узкой деревянной лестнице к дверям одной из келий.

– Милосердия отверзи ми двери, – произнес приезжий вполголоса, постучавшись.

– Вьиди в храмину убожества моего, – отвечал изнутри чей-то звучный и громкий голос; задвижка щелкнула, и дверь отворилась.

Приезжий, наклонившись, прошел в низенькую дверь и очутился в светлой и просторной комнате, скорее похожей на кабинет ученого, нежели на келью инока.

– Земляку преименитому, Федору Шакловитому! – воскликнул хозяин кельи.

– Отцу Сильвестрию, латинщику и книжнику! – приветливо отозвался Шакловитый.

И оба земляка обменялись крепким дружеским рукопожатием.

Сильвестр Медведев был лет на десять старше Шакловитого и значительно ниже его ростом; но его умное и энергичное лицо также носило на себе несомненные признаки южнорусского происхождения. Сухой и коренастый, несколько сутуловатый от постоянной и страстной привычки к книжным занятиям, Сильвестр, судя по его внешности и движениям, принадлежал к тем неутомимым и неутомным натурам, которые никогда не довольствуются одним каким-нибудь родом деятельности, а любят одновременно заниматься несколькими делами зараз и всю жизнь свою творят, созидают и изобретают, пока смерть не наложит «печати хранения» на уста их. О деятельности Сильвестра ясно свидетельствовали полки, тесно заставленные книгами, аналоги с разложенными на них лексиконами, столы, заваленные грамматиками, свитками, столбцами и кипами бумаг, и корзины, в которые он складывал писанные на отдельных бумажных лоскутках выписки и заметки. Небольшое распятие в углу первой кельи заменяло икону; а в соседней келейке, служившей Сильвестру спальнею, три лампы ярко горели перед большим киотом с образами.

Усадив гостя, Сильвестр задвинул задвижку входной двери, достал из маленького стенового поставца сулею и две серебряные чарки и, поставив их перед Шакловитым, сказал:

– Вот уж именно, как царь Давид, могу возгласить: «Ждах, иже со мною поскорбить, и не бе утешающего», – а мне тебя Бог послал, Федор Леонтьевич! Благодарение Ему!

– А ты что же, Сильвестрий, все воюешь небось? Все своих букварей с Лихудьями поделить не можешь? – насмешливо спросил Шакловитый у своего собеседника.

– Какие там буквари! Эти самобратии совсем на меня надели! Им уже мало показалось одной школы греческого языка в Богоявленском монастыре! Позавиствовали они моему настоятельству, дерзнули всякие ложные клеветы на меня перед отцом-патриархом рассевати – и мне учинилось вестно, что он этим гречишкам, этим хищникам, этим волкам новопотаенным...

– Да полно ругать-то их! Аль еще не надоело? Говори, в чем суть!

– Моченьки моей не станет! Душа изныла! Сколько лет труждаюсь! Сколько сил потратил! А тут вдруг наехали эти Лихудьиши, душу святейшего патриарха напрасно помutilи и побуждают его мою-то школу закрыть и ту, что на Печатном дворе, – тоже; а им чтобы дозволено было здесь, в самых стенах моей обители, свое осиное гнездо завести.

– Как так? Ведь ты, кажется, патриарху угождал и учением в твоей школе он бывал доволен?

– Вначале взыскан был его милостью, и награды удостоился, когда учеников своих к нему привел и еще, помнишь, один из них ему «орацию» в Крестовой палате говорил?

– Ну так что же это вдруг с ним случилось?

– А то и случилось, что заспорил я сначала с его любимым справщиком Евфимием да с ризничим Акинфом о богословских наших делах; а оно-то святейший – человек по себе и добрый, да учен-то он мало и речей богословских не смыслит, – вот он на меня за тот спор и осердился. А тут эти проклятые эллины вступились – прости господи! – и давай ему нашептывать, что латинские школы будто бы панежским духом заражены и надлежит быть в Москве одним «эллинским школам», будто бы и благий учитель мой, Симеон Ситианович Полоцкий, тем же панежским духом заражен был. И про меня разные душевредные пакости стали ему наводить... вот он и поддался им, и здесь... здесь собирается строить им каменные палаты и академию Эллино-словенскую им учреждать! Видно, мне последние времена пришли!

Шакловитый презрительно улыбнулся и, ничего не отвечая Сильвестру, отхлебнул из своей чарки.

– Счастлив ты, Сильвестрий, что в глубине своей кельи схорониться можешь да всю душу полагать в борьбу с Лихудьями! А что бы ты запел, кабы тебе пришлось то видеть, что у меня на Верху государском каждый день на глазах?

– Велики твои тягости, Федор Леонтьевич! И я, нищетный инок, не променяю своей ряски на твой богатый терлик.

– Ну вот хоть бы сегодня: послы прощаться с государями явились, и встречать их в Крестовой палате назначен был я с князем Алексеем Голицыным; а его отец, князь Василий, являть их должен был в комнате. И этот молокосос, щенок полуграмотный, который без году неделя и читать-то выучился, повел послов к царям, а меня в Крестовой оставил – их челядь угощать! Он вот в бояре метит, а меня и в гроб окольничим положат! А ты из-за своих счетов с Лихудьями уж и вопишь, что последние времена для тебя пришли... Гневишь ты Бога! То ли ждет нас впереди, когда у нас царевны-то не будет?

– Государыни-царевны? Что же бы это такое! Ты меня пугаешь, Федор! На нее вся и надежда моя возложена – я за нее вечный молитвенник!

– Что твои молитвы! Может, они и доходны до Господа, да тут молитвами уж не поправишь дела! Тут другое нужно...

– Да говори же, противниче! К чему ты речь клонишь? – серьезно сказал Сильвестр, хватая Шакловитого за руку.

– А вот к чему! С нынешнего дня царевна на тот путь вышла, чтобы ей с братьями соцарствовать и быть, как и они же, самодержавицей. Так ее князь Василий надоумил! Подбивает ее к тому вести дело, чтобы и ей тоже венчаться на царство...

– Тонко придумал царедворец!

– Тонко придумал, да об одном позабыл, что это прежде бы догадаться сделать! А теперь нужно одно помнить (тут Шакловитый понизил голос): что кровью начато, кровью и кончать надо...

– С нами крестная сила! – прошептал Сильвестр. – Неужто же на помазанников Божьих руку дерзнете поднять?

– И в голове этого нет! А главные ветви от коня отсечь потребно, пока корень-то не окреп да не заматерел...

– Кого же ты под этим разумеешь?

– Вестимо кого! Около младшего царя есть два всему злу заводчика: Бориско-пьяница да Нарышкин Лев. Стоит их принять, так «старой медведице» с нами не справиться будет!

– А что же князь Василий тебе на это скажет?

– Что скажет, коли мы его не спросим? Разве ты его не знаешь? Замутить да надоумить – его дело, а на нож полезть – других подставит. Вестимо, если дело до крови дойдет, – он не помога нам.

– Но как же без него? Разве *она* решится, не спросясь его совета...

– Вестимо, нет! Она ему верит, как Богу... И как любит его! Души в нем не чаает... Но ведь скоро ему придется идти в поход...

– В поход! В какой поход? Так это точно правда, что он в поход пойдет?

– Чему же ты дивишься? Ну да! В поход на крымцев. Мы ведь обязались договором с Польшей зачать с ними войну! А он кого же пустит в воеводы, кроме себя?.. Так вот – и скатертью дорога! Как он в поход, так мы сейчас примемся за дело... И мы должны его обладать втихомолку...

– Недурно ты придумал, Федор!.. Но...

– Но это дело без стрельцов не обойдется! Их мы должны опять поднять; а и нет у меня людей таких надежных, подходящих... кому бы я мог довериться... через кого мог бы их на ум наставить... мог бы путь им указать! Ну, словом, ты мне нужен, Сильвестрий! Понимаешь? Ты мне нужен...

– Но чем могу тебе помочь? Я смиренный инок и крови трепещу...

– Да не в том и дело! У тебя между стрельцами есть благоприятели, есть старые знакомцы, с которыми ты водишься издавна... Ну, словом, помоги! Ведь все равно – сегодня царевна потеряет власть, и мы с тобою пропали! Тебя съедят Лихуды, доведут до покаянья, до позора – а мне и в Сибири не найдется места! Так лучше уж дерзнем!..

– О! Лишь бы заградить уста этим глаголющим неистовые брехания, я готов помочь тебе, друг Федор! Знаю, что ты и в славе меня не позабудешь...

Если царевну Софию нам удастся узреть державною, венчанною, соцарствующею братьям-царям, то ты из этой кельи переедешь в Патриаршие палаты.

Глаза Сильвестра загорелись недобрым огнем.

– А если не узрим, друг Федор? – спросил он Шакловитого, пристально вперив взор в лицо его.

– Ну так пойдем на плаху вместе!

И оба друга, обменявшись крепким рукопожатием, смолкли на мгновение...

Потом Сильвестр, как будто припомнив что-то, наклонился к Шакловитому и тихо сказал ему:

– Друг Федор, я и сам к тебе хотел идти и рассказать диковину. Есть человек один (не к ночи будь помянут) – сильный и страшный человек... в волхованиях и в чарах явно искусный! А ты... как? Ты в это веришь?

– Случалось слышать много... и видеть чудного немало приходилось... А сам не пробовал...

– А вот князь Василий – тот всего попробовал! Ты знаешь ли, как он добился милостей царевны?

– Как? Неужели чарами?

– Волхва сыскал, своего холопа, который в яствах клал корешки «для прилюбления», и относил те яства к царевне Софье.

Шакловитый вскочил со своего места, схватил Сильвестра за плечи и стиснул его, как в железных тисках:

– Неужели это правда! Вот если бы мне найти такого волхва! Чего бы я не дал ему!

– Ну так, видишь ли, есть и у меня такой же человек! Я от него-то и узнал о корешках, а он про это слышал от князя Василия людей... Так, видишь ли, вот этот самый человек...

– Да где же он? Кто он такой! Веди меня к нему! Подай мне его сюда!

– Теперь не время... Да ты ж его и на Верху видал и знаешь!.. Тот самый знахарь-то, что из-за польского рубежа вызван лечить царевича Ивана Алексеевича от глазной скорби...

– Митька Силин?!

– Тсс!.. Тише, тише! Не называй его по имени – не надо! – прошептал Сильвестр, махая руками и опасливо оглядываясь по углам потемневшей кельи. – Да, он самый! У-у! Силица большая! С самим нечистым водится! Гадать умеет на все лады и от болезней разных лечит снадобьями, и в солнце смотрит, и по солнцу узнавать горазд – кому что будет!

– Ну так что же?

– Я о тебе и о себе его заставил гадать, не сказывая, о ком гадаю: и он смотрел по зодиям и по кругам небесным, и по звездам, и говорит: великие-де государи недолговечны; перво-де, говорит, один к Богу пойдет, а потом и другой; а после того великое будет смущение, какого еще в Московском государстве не бывало; и кто-де, говорит, наверху теперь – тот на низу окажется, а про нас с тобою сказал, что мы... в большие князи произойдем.

– Не возьму я в толк...

– Ты слушай дальше! Я ведь ничего не ведал о походе, а просил его на князя Василья погадать, мол, будет ли тому удача в деле, в посольском-то? И он влезал на колокольню Ивановскую с чернецом Арсением и в солнце через черное стекло смотрел! И говорит потом: ему теперь удача будет и честь великая, а потом его за тридевять земель пошлют войною, и в той войне не быть удачи, – только кашу государскую истратит да людей изомнет.

– Диковинно! Как мог он об этом проведывать?..

– Чего он не знает! Так веришь ли теперь, что он тебе, пожалуй, окажет помощь и в сердечном деле? Он говорил, что жен с мужьями и помутить, и развести, и вновь свести – все это может... А во дворец он вхож...

– Ох, друг Сильвестрий! Пусть он все возьмет: мне ничего не жаль... Лишь бы... Да что об этом толковать? Тут дело делать нужно! Поразузнай, покамест под рукою, порасспроси своих приятелей между стрельцами – согласны ли они помочь нам в нашем деле? А как только князя Василья сбудем, так уж прямо напролом пойдем, чтоб уж и царевне не было возврату... И если точно будет удача, пусть ей венец не из его руки, а из моей достанется! Так буду ждать твоих вестей!

Друзья расстались. Шакловитый, сопровождаемый Сильвестром, вышел во двор, где воротный сторож дожидался, держа под уздцы его коня. Легко и ловко вскочил Шакловитый в седло, сунул сторожу в руки серебряную монету и выехал за ворота, не оглядываясь. А Силь-

вестр долго стоял на последней ступеньке лестницы, в глубоком раздумье, прислушиваясь к удаляющемуся топоту коня, звонко отдававшемуся в стенах давно заснувшей обители.

VIII

Наконец в половине мая собраны были все надлежащие справки в Приказах о том, как в прежние годы награждались бояре за свои службы при посольствах и при заключении договоров, и всем лицам, участвовавшим в заключении вечного мира с Польшей, князю Василию Васильевичу с товарищи, назначены были награды, щедростью своею далеко превосходящие всякие чаяния и упования. Эта щедрость, как все очень хорошо понимали, вызвана была желанием царевны наградить своего любимца так, как еще никто не бывал награжден до него; но само собою разумеется, что на это никто из его товарищей не жаловался: напротив, по особому свойству человеческой природы, все ощущали даже некоторую признательность по отношению к вельможе, на счастья которого создалось и их общее благополучие.

И вот закипела работа в Приказах: пошли подьячие выводить свои крючки и росчерки и писать с дьяческих черняков жалованные грамоты красным почерком и красным слогом. И значилось в тех грамотах после подробного изложения всех обстоятельств, сопровождавших заключение вечного мира, что «великие государи и самодержцы для того вечного мира и святого покою пожаловали такого-то за службы предков и отца его и за его, которые службы ратоборство и храброе и мужественное ополчение, и крови, и смерти, предки и отцы его, и он сам показали в прошедшую войну в Коруне Польской» и, всю «тое службу похваляя», утвердили за ним такое-то «поместье в вотчину». Любопытно, что такая грамота дана была, между прочим, и Емельяну Игнатьевичу Украинцеву, который никогда на своем веку не проливал никаких кровей и воевал только со своими подчиненными, уча их деловитости и порядку.

Раздача наград и чтение грамот в присутствии великих государей и всей Боярской думы назначены были на 22 мая; но уже за неделю всем было известно, какие кому сверх вотчин и грамот будут выданы подарки в виде серебряных сосудов, шуб, дорогих материй на платье и соболей. Никто не знал только, что будет назначено сверх вотчин и прибавки жалованья Оберегателю, потому что подарок ему еще не был избран царевною Софией из Большой государственной казны. На всезнающей площадке на этот счет только втихомолку подсмеивались и острили:

– Хоть и неведомо, что ему подарят, однако ведомо, что не обидят.

– Хорошо тому, братцы, на свете жить, кто в сорочке родился! – говорили на это одни.

– Ну что там пустое толковать о сорочке, братцы! – у него *царь* в голове, оттого ему и удача во всем.

– *Царь*-то у него в голове есть, да удача не от *царя*, а оттого, что *его счастье* в кике ходит, – лукаво добавляли другие.

Как только стало известно, что награды будут раздаваться 22 мая, князь Василий решился в этот день позвать к себе на обед патриарха, всю знать и всю родню; он знал, что все и без того к нему, как к первому вельможе, явятся поздравить с царскою милостью, что всех и без того придется угощать и дарить, а потому задумал придать этому празднеству по возможности блестящий и торжественный характер. И повод к празднеству был давно готов: дело о свадьбе сына Алексея с дочерью боярина Исая Квашнина было совсем слажено, и на 22 мая можно было назначить стовор. Как только это решение созрело в голове князя Василия, он сообщил о нем для сведения и исполнения своей супруге-княгине и сыну-князю, а сам озаботился о важнейших приготовлениях к празднеству.

И заботы эти были настолько значительны, что отняли немало времени у Оберегателя. Подобное празднество в то время было недешево устроить, и мы это поймем, если примем во внимание существовавшие в то время обычаи. Князю Василию предстояло принять у себя не менее тысячи человек гостей из всех слоев общества и каждого из них угостить сообразно его положению, да сверх того посадить за стол человек двести почетнейших гостей и родни

и, кроме обеда в пятьдесят – шестьдесят блюд, каждому из этих гостей поднести подарок, соответствующий его состоянию и служебному положению.

Князю Василию предстояло решить очень нелегкую задачу, несмотря на все громадные материальные средства, бывшие в его распоряжении. Василий Васильевич Голицын, в описываемое нами время, был уже страшно богат и любил жить широко, любил блеск и роскошь в своей домашней обстановке; но при этом он все же был расчетлив и, как истый русский боярин XVII века, не пренебрегал никакими средствами для увеличения богатства. Кроме доходов с громадных имений, которые почти ежегодно разрастались от новых придач, прирезок и приобретений, кроме большого по тому времени жалованья и беспрестанных подарков от великих государей (то в виде дорогих мехов и платья, то в виде мебели, то в виде золотой и серебряной посуды), Оберегатель получал добровольные дары и приношения со всех концов России. По общему обычаю времени, он не брезгал не только «благодарностью» со стороны людей, которым доставлял места и должности, но даже и остатками казенных дворцовых кормовых и погребных запасов. Когда же случался пожар в одном из его четырех московских домов или в одном из его двенадцати подмосковных имений, то он без всякого стеснения подавал государям челобитную и получал от них пособие на «погорелое».

При такой запасливости и таких способностях к приобретению князь Василий был прекрасным хозяином, всему знал цену и не любил тратить деньги по-пустому. Даже и во время своих долговременных отлучек из Москвы по делам службы князь Василий получал самые подробные сведения о каждой мелочи в своем хозяйстве и всем распорядился сам через близких и доверенных людей. В доме его был образцовый порядок, и всей его громадной движимости велись весьма подробные переписные книги, в которые заносилась каждая, даже и самая незначительная, вещь. Сверх того, за многие годы сохранялись сметы и записи расходов, произведенных по поводу семейных празднеств, освящения домашней церкви, больших приемов и других случаев ежегодного обихода, сопряженных с угощениями и затратами.

И вот за несколько дней до празднества князь Василий, предоставив своей матушке Татьяне Ивановне и своей супруге Авдотье Ивановне ведаться с поварами и всякого рода приспешниками, позвал к себе главного своего приказчика Матюшку Боева, человека весьма ловкого, оборотливого, опытного в житейских делах и уже обладавшего довольно кругленьким достатком, чтобы при его помощи ознакомиться с наличным количеством всяких запасов, хранившихся в его княжеских кладовых, погребях и на житных дворах, и составить приблизительную смету предстоящим расходам.

Матюшка (всем известный при дворе князя под именем Матвея Ивановича) немедленно предстал пред князем со связкою ключей на поясе и с полудюжиной толстых записных книг и тетрадей под мышкою.

– По нонешнему весеннему времени, – обратился к нему князь, – есть ли у нас достаточно запасов, чтобы к стовору сына такое же угощенье учинить, как на дочкиных крестинах было или освящении нашей церкви?

– Как, государь, запасу не быть? У тебя дом – море; где ни черпни, все полно.

– Да вот, мне кажется, мы рыбой-то не богаты, да и запас-то такой, что похвалиться нечем! А ведь тут сам святейший будет...

– Помилосердуй, государь! У нас ли рыбы не быть, когда нашим новгородским Приказом и при государском дворе вся рыба держится – вся через наши руки на кормовой дворец поступает. Как бы и тут, опомнясь, нижегородский целовальник Логинка Брызгалов с товарищи и оханную рыбу великим государям привез, так и твоей милости двумя бочками поклонился; а в них – и мякотные осетри косяки, и хрящевые, и тешки, и башки белужьи, и осетрики просольные. Да он же привез две кадки икры, пудов до пяти, да визиги, да клею, да пуд молоко, да два пуда пупков белужьих и осетрих. Да двинский целовальник Петко Онегин, как привозил государям десятинную красную рыбу семгу просольную, тоже твоей милости двумя бочками

челом ударил. Да в пруду нашем на Загородном дворе под Девичьим монастырем есть еще с прошлого года запас живой рыбы – стерляди мерные шехонские да сырты новгородские, которых митрополит Корнилий тебе в дар прислал.

– Это рыбный запас! А мясного-то да живности хватит ли?

– Если бы ты, князь, и завтра затеял своих гостей созвать, так и тогда бы всех ублагоустроили; а как тут до сговора князь Алексева пять дней осталось, так мы еще из двух мест обозы живности получим, потому я во все твои ближние вотчины грамотки с нарочными посыльщиками отправил и в них именно прописал: «Как только ся моя грамота придет, собрали бы с крестьян на наш обиход, в счет денежных доходов, столько-то быков, да баранов, да гусей, да уток, да поросят, да куров индейских, да куров русских, да столько-то тысяч яиц, да сыров самых добрых, да...»

– Ну хвалю за обычай! Запас беды не чинит. Так вот теперь пораскинуть бы умом надо: кого чем угостить? кому что подавать? кого чем дарить? Чай у тебя сохранны записи за прошлые годы, чтобы нам и теперь против тех записей поступать.

– Как не сохранны, государь! И теперь с собой захвачены... Вот, примерно, если с духовенства начать, как мы их прежде угащивали и даривали, хоть бы при освящении церкви. Так вот тут у меня в записи значится, что тогда отцу патриарху один сорок соболей поднесен ценою в пятьдесят рублей, а пестрым властям⁵ тридцать семь рублей семь алтын да две деньги розданы. А питей про пестрых и про всяких святейшего патриарха чиновных людей – полтретья ведра ренского, да романей тож...

– Не много ли будет? И того и другого им по ведру довольно?

– Не маловато ли будет? Потому ведь пить-то они все не плохи!.. Разве что будет их нынче поменьше?

– А дальше что?

– Вина церковного семь ведер...

– И трех довольно...

– Да двойного два ведра, да простого восемь; а пив и медов сколько ты сам, государь, укажешь.

– По десяти пива и меда за глаза с них будет. И то сказать: утробисты!

– А ясты на них записано: двадцать осетров просольных, да четыре пуда икры черной, да провесной рыбы.

Но тут любопытная запись Матвея Ивановича, свидетельствовавшая о гомерическом аппетите пестрых властей, была прервана приходом Кириллыча, который доложил, что золотописец Карп Золотарев закончил свою работу на подволоке большой столовой палаты и просит князя взглянуть «на его дело». Князь приказал Матюшке подождать своего возвращения, а Кириллычу велел принести в большую столовую палату из особой казенки верхнего жилья всю сложенную там серебряную и вызолоченную посуду.

Карп Золотарев, специальный золотописец Посольского приказа, великий мастер и художник своего дела, благодаря современной моде был постоянно занят работами в Теремном дворце и в других загородных дворцах, где вместе с артелью своих рабочих расписывал стены и потолки хором под стать различных мраморов, золотил карнизы и рамы, покрывал золотыми лучами и травами притолоки дверей и амбразуры окон. Ему же поручалось золочение мебели и расписывание ее разными цветами по золоту, если ей хотели придать особенную ценность и изящество; а между делом он успевал исполнять и заказы Посольского приказа, разрисовывая заголовки и прописные буквы грамот или поля священных книг, подносимых царевнами и вельможами в дар различным храмам и обителям. Ему-то и поручил князь Василий расписать

⁵ То есть духовенству черному и белому.

стены и подволоку в своей большой столовой палате – самом обширном и самом видном из покоев его дома.

Эта палата, освещенная сорока шестью окнами, расположенными в два ряда, свободно могла вместить в себя двести пятьдесят – триста человек гостей. Князь вступил в это громадное зало и, ответив на поклон Карпа Золотарева приветливым кивком головы, бросил беглый взгляд кругом.

Большая столовая палата производила очень приятное общее впечатление, потому что все в ней свидетельствовало о тонком вкусе хозяина, и побывавшие в ней иноземцы недаром говорили, что она могла бы украсить собою дворец любого итальянского принца. Стены палаты были с трех сторон расписаны под мраморы различных цветов, а с четвертой, украшенной девятью портретами русских государей, – обиты золочеными немецкими кожами. В окнах все оконницы были не только стеклянные (что было большою редкостью и диковинкой по тому времени); но в двух крайних окнах стекла были даже расписные. Вся мебель состояла из опрочметных скамей, обитых красным сукном, и двух огромных столов с мраморными досками. Над столами спускалось с потолка изумительное по резьбе большое костяное паникадило о пяти поясах. Около одной из стен стояли органы и басистая домра в футляре; около другой, увешанной зеркалами, возвышались раскрашенные и раззолоченные поставцы, уставленные серебряною и хрустальною посудой и немецкими кувшинами и кружками самых причудливых форм. И все это роскошное убранство столовой палаты завершалось пестрою и оригинальною живописью потолка, на котором по углам и вокруг, в двадцати медальонах, были писаны по золотому фону «пророки» и «пророчицы», а в середине, по одну сторону – ярко вызолоченное солнце с лучами, по другую – бледный месяц, а вокруг солнца «беги небесные с зодиями и с планеты, писаны живописью».

Князь Василий залюбовался затейливым рисунком и почти не слушал доклада Карпа Золотарева, который подробно пояснял ему, как он выполнял его заказ, как покрывал холст левкасом и золотил по левкасу и сколько недель потом, лежа навзничь на подмостках, расписывал по золоту «лики» и «беги небесные».

А в то время как князь осматривал свою столовую палату, Кириллыч со слугами вносил корзину за корзиной и, вынимая из них серебряные чарки, чаши, кубки, стопы и ковши, расставлял их в ряд по столам для осмотра боярского. Но боярину было не до того...

Под впечатлением всего, что было испытано и пережито за последние дни, под впечатлением ожиданий предстоящего торжества князь Василий представлял себе эту палату залитою светом, полною бояр и первейших сановников, в аксамитах и алтабасах, в жемчугах и камнях, за столами, которые гнутся под тяжестью золотой и серебряной посуды... И себя он видел между ними на первом месте. И слышал он кругом себя веселый шум, говор и почтительный шепот удивления перед тем, чего он достигнул, что он совершил. А вон сквозь толпу, с трудом протесняясь, шествуют дьяки в золотах, держат писанную на пергаменте жалованную грамоту, несут торжественно золотую чашу, обсыпанную камнями, несут шубу атласную на бесценных соболях... А в той грамоте четко приписано, что им, князем Василием, «преславному имени Царского Величества учинено многое повышение, а православной вере – умножение, а державе Российской великая прибыль и по всему свету вечная слава и хвала...».

«Слышите ли вы, враги и супротивники? Сознаете ли вы свое ничтожество?!»

И поднимаются с мест царевичи крещеные и все боярство, и кланяются ему, князю, в пояс, и громко славят его имя, его бескровную победу! И гремит музыка, гудят колокола церковные – и шумно ликует кругом его светлых боярских палат всенародное множество, выхватывая щедрость и милость боярскую. А почему ликует? Кто виновник всего этого торжества и ликованья? *Он – князь Василий...* Да то ли еще будет, когда он выступит во главе всего воинства русского на попрание исконных врагов христианства – на злых татаровей... Он одолеет

их, сотрет их с лица земли – он должен вернуться победителем! И тогда он оживит пустыни, населит их, проложит в них пути мирному землепашцу и предприимчивому купцу...

И вдруг золотая нить мечтаний князя порвалась столкновением с действительностью...

– Государь всемилостивый, – раздался сзади голос старого Кириллыча, – изволь сам назначить, какие кому золотые и серебряные сосуды даровать изволишь, чтобы потом каких оглядок не вышло.

И князь Василий, пробужденный от обаятельных грез тщеславия, перешел к рассматриванию и взвешиванию серебряной и вызолоченной посуды, делая указания Кириллычу и тщательно соразмеряя ценность назначаемого дара со значением и весом лица, которому дар предстояло поднести.

В суетном мечтателе и ненасытном честолюбце опять проявился практический и сметливый московский боярин.

IX

Дня три спустя после того шумного и блестящего празднества, которым Оберегатель отпраздновал и получение щедрых царских милостей, и свою семейную радость – сговор сына Алексея с боярышней Марьей Исаевной Квашниной, – длинный поезд, состоявший из нескольких карет, колясок и колымаг, тащился по изрытой колеями и грязной дороге от Москвы к Преображенскому. В каретах и повозках сидели участники последних переговоров с Польшею, князь Василий Васильевич Голицын с товарищи. Накануне все они были на поклоне у царевны Софии и царя Иоанна Алексеевича и допущены были «к руке»; и дворский обычай требовал, чтобы с тою же цепью они побывали и в селе Преображенском, где юный царь Петр проводил большую часть года под крылом своей матери. И вот Оберегатель со товарищи ехал благодарить великого государя Петра Алексеевича за те милости, награды и подарки, в которых Петр, собственно говоря, не принимал никакого участия.

Впереди поезда ехали «для береженья» человек тридцать боярских слуг, с саблями через плечо и с пистолетами за поясом; да человек двадцать точно так же вооруженных слуг ехали на хвосте поезда. По обеим сторонам повозок, на борзых аргамаках, гарцевали служилые гайдуки князя Василия, в пестрых кафтанах с откидными рукавами; а по правую руку кареты Оберегателя ехал неизменный спутник всех выездов князя – Куземка Крылов – на поджаром вороном коне, выступавшем бойкою дробною ходой. В передней расписной карете, запряженной шестериком рослых и сильных гнедых коней, сидел, развалившись на подушках, князь Василий, а против него, на передней скамье, помещался дьяк Украинцев.

Дорога в Преображенское шла, извиваясь, глухими, привольными местами, то пересекая топкие и низменные луга, поросшие гривами камышей и кустов, то пролегая по густой и темной чаще. Трудно было даже и поверить, чтобы такая глушь, такой «охотничий рай» мог начинаться почти у самой московской городской заставы! Недаром оценил и облюбовал эти места страстный охотник царь Алексей Михайлович и, откупив их для своей царской потехи, сделал их заповедными... В этой-то благословенной зеленой глуши построил он и свое любимое село Преображенское, в которое наезжал нередко раннею весною и позднею осенью во всех видах, потому что в соседних с Преображенским лесах водилось великое множество всякой птицы и зверя, а часть леса около самого села была даже отведена под искусственный зверинец, для содержания запасного зверя или же зверя диковинного, редкостного, привозного.

Уже в царствование царя Федора Алексеевича село Преображенское было указано вдовствующей царице Наталье Кирилловне *как удобное для нее местопребывание*, и она туда охотно переселилась вместе с малолетним сыном Петром Алексеевичем и маленькою дочкою Натальею Алексеевною. Здесь, вдали от неприятного ей двора, царица Наталья Кирилловна посвятила себя заботам о воспитании детей и о их будущности. Но когда царь Федор скончался, а через две недели после его кончины так неожиданно разразились ужасы Стрелецкого бунта и на глазах царицы так позорно и так безжалостно были умерщвлены ее друзья и брат; когда так открыто и так нагло выступили на сцену главные деятели заговора и София захватила власть в свои руки... О, тогда Преображенское стало для царицы еще более дорогим и привлекательным! Только здесь, среди ближайших родных и друзей, окруженная верными и преданными слугами, она не трепетала за детей и могла свободно предаваться то скорбным воспоминаниям, то отдаленным надеждам и упованиям.

При переезде через один из ручьев, пересекавших дорогу, карету Голицына тряхнуло так сильно, что он ударился плечом об одну из стенок ее и, не остерегшись, чуть не выбил стекла локтем.

– Ну уж дорога к царскому селу! Хуже всякого проселка, – проворчал он досадливо.

– Да! Таки потряхивает! – отозвался Емельян Игнатьевич. – Да, впрочем, на этом ручье, что из Лосинога острова течет, и всегда так было! А мне этот ручей еще и тем памятен, что я тут однажды чуть живота не лишился!

– Каким же это случаем?

– А послан я был в самый канун Аграфенина дня с грамоткой к покойному царю Алексею Михайловичу от боярина Ртищева. Поехал я для скорости верхом, и лошадь мне с дворцовой конюшни дали такую, что еле ноги волочила. И только бы мне к этому ручью подъехать, как вижу, передо мной на полянке взмыл из-за лесу коршун, а на него, как камень, пал сверху красный кречет, – да как черкнет его!.. Коршун от него – наутек через дорогу, к лесу; а кречет – за ним. Не успел я оглянуться, как вдруг вижу, прямо на меня со стороны полянки что есть духу мчат человек тридцать царских сокольников, а впереди сам батюшка-царь... И все вверх глядят и кричат во весь голос, и шапками вверх машут – а меня и не видят! Налетели, коня с ног срезали и все через меня, как вьюга, промчались к лесу, за кречетом! Как я очнулся от испуга, как встал – и сам не знаю! Да уж насилу-то, насилу пешком добрал до Преображенского. А государь-то батюшка – блаженной памяти! – и говорит потом: «Счастлив твой Бог, что мы только коня под тобой помяли! Иль ты не ведаешь, что в лесу поваднее с медведем повстречаться, чем в поле поперек дороги охотнику стать?..» Да вот уже мы и подъезжаем.

Поезд князя Василия Голицына с товарищи остановился у рогаток, которыми были огорожены ворота околицы села Преображенского, и передовые слуги боярские уже вступили в переговоры с караулом из солдат и жильцов, охранявших ворота. Пришлось боярам вылезть из повозок и объявить о цели приезда в Преображенское, затем оставить за околицей всех коней и всю свиту, а самим брести пешком до дворца, между тем как старший из караула побежал докладывать дворцовой службе о приезде бояр из Москвы.

Шествуя к дворцу, бояре с любопытством осматривались кругом и многому дивились не на шутку. Как раз перед дворцом на расчищенной лужайке человек пятьдесят потешных конюхов, с мушкетами на плечо, маршировали под такт барабана, довольно неуклюже поворачиваясь всем строем по команде немца капрала, который осыпал их бесцеремонной бранью и кричал на них осипшим голосом: «Лефой, прафой! Служай команта! Лефой, лефой!» Далее на той же лужайке человек десять потешных в самых разнообразных полукафтанных и шапках возились около двух небольших железных пушек, обучаясь приемам заряжания и наводки и живо действуя банником. Видно было, что это уже не новички в деле. Поправее дворца и ближе к берегу Яузы возводилась какая-то постройка: две больших избы обносились высокою зубчатою стеною из толстых бревен, а над воротами их воздвигалась башня с высокою шатровой кровлей. В то же время вдоль стены одни землекопы рыли глубокий ров, а другие отвозили землю на тачках и насыпали высокий вал между рвом и стеною. Работали, по-видимому, спешно, и работа кипела: звонкий стук топоров сливался с криком сотни голосов и отдавался гулким эхом в окрестных лесах. Где-то далее слышно было, как пели «Дубинушку» – должно быть, били сваи или накатывали тяжелые бревна на постройку. А среди этого шума из лесу доносилась по временам трескотня мушкетной пальбы то в виде залпов, то одинокими выстрелами.

У входа на дворцовое крыльцо князь Василий и его товарищи были встречены боярами-князьями Прозоровским и Троекуровым, которые, обменявшись обычными приветствиями, пригласили гостей в «переднюю» государеву.

– Государыне царице Наталье Кирилловне о твоём прибытии уже доложено, – сказал Троекуров Голицыну, – ну а государя-то Петра Алексеевича вам, пожалуй, немало времени подождать придется...

– А почему бы так, князь Иван Борисович? – спросил князь Василий. – Иль государь в отлучке? Поход, что ли, куда затеял?

– Какой там поход! Он никуда отсель не отлучается. А вот и дома, да негде взять. Иной день с ног собьешься, его искавши...

– Да что же он от вас нарочито хоронится, что ли? – вступился Шереметев.

– И не хоронится, а не сыскать!.. Ведь он у нас как молонья... То здесь, на стройке, то там, на земляных работах, то с Зоммером-то, с иноземским капитаном, на стрельбу за две версты укатит, да все пешком...

– Как! Неужели пешком? – воскликнули с изумлением все приезжие бояре.

– А как же? Да сюда вернется-то иной раз весь в грязи, в пыли, в поту – и никто не смей ему и слова молвить, чтобы он переменить изволил обувь или другой кафтан надеть. Сейчас отрежет: «Не суйся под руку! Я сам все знаю!» Да! он у нас бедовый!

– И неужели же государыня пускает государя повсюду одного – не тревожится? – спросил Голицын с недоумением.

– А как его непустишь? – продолжал Троекуров. – Заладил: «Хочу! Чтоб было – и конец!» Одной лишь матушки-царицы и слушает... Ну а как та рассердится, прикрикнет, он сейчас к ней с ласкою; уговорит ее, умастит и таки поставит на своем. И государыня-царица уж привыкла – не боится теперь. Да он же не один: с ним неотступно всюду ходят трое Нарышкиных да Никитка Зотов, а то и сам князь Борис Голицын. И уж как он их иной раз загоняет – посмотришь, право, ну и смех и грех!

Словоохотливый боярин, вероятно, и далее продолжал бы занимать гостей своими любопытными рассказами о преображенском баловне; но дверь в комнату открылась, из нее чинно вышел ближний боярин царицы Тихон Никитич Стрешнев и произнес громко:

– Благоверная государыня-царица Наталья Кирилловна изволит жаловать в переднюю. Князь Иван Борисович, тебе бояр являть повелено.

И в то время как бояре и дьяки выстраивались по старшинству и сану, а князь Василий становился впереди их с князем Троекуровым, царица Наталья Кирилловна в темном летнике с золотыми пуговицами и в широкой теплогрее, обшитой золотым кружевом, вошла в палату. На голове ее был темный же каптур, низанный жемчугом. Позади ее вступили в переднюю две ближние боярыни, а двое молодых стряпчих внесли кресло, на которое царица опустилась, ответив на земной поклон бояр.

Высокая, стройная и статная государыня на вид казалась значительно моложе Софии Алексеевны, хотя, в сущности, была лет на пять старше царевны. И она была все еще прекрасна и лицом своим напоминала тип той чисто русской красоты, которой в песнях приписываются «брови соболиные, очи соколиные и поступь лебединая»... Но тяжкие испытания и незаслуженные удары судьбы, но пережитые ею горести и утраты наложили на ее прекрасное лицо печать грусти и уныния, а бессонные ночи, проведенные в смертном страхе и горьких слезах, отуманили блеск ее очей и сменили прозрачную бледностью прежний яркий румянец щек. К тому же потрясения, испытанные царицею во время майских дней 1682 года, оставили такой глубокий и неизгладимый след в душе царицы Натальи, что она всегда тревожно и вопросительно оглядывала каждого подходившего к ней, прежде нежели обращалась к нему с речью.

Князь Троекуров явил приезжих бояр, которые все издавна были известны царице лично, и при этом объяснил, что князь Голицын с товарищи прибыли в Преображенское благодарить великого государя Петра Алексеевича за полученные милости и награды и просят о допущении их «к руке государской».

– Рада видеть вас, князья и бояре, рада бы я просьбу вашу исполнить, да не знаю, скоро ли наш посланный отыщет государя – сына моего! – сказала Наталья Кирилловна. – А благородная царевна София Алексеевна все поздорову ли?

– Великая государыня царевна и великая княжна София Алексеевна по сей день по милости Божьей здравствовать изволят и тебе, великой государыне, с нами поклон и привет шлет, – отвечал с низким поклоном Оберегатель.

За этим первым официальным вопросом о здравии правительницы последовал ряд таких же вопросов о здравии всех шести сестер и двух теток ее, и князь Василий на все эти официальные вопросы правил такие ответы с низкими поклонами.

Этот скучный церемониал еще не был вполне окончен, как в сенях послышался шум, говор и стук шагов, потом дверь распахнулась настежь и государь Петр Алексеевич вбежал в переднюю, а за ним поспешно вошли младшие братья царицы – Лев, Мартемьян и Федор Нарышкины – и дядька царевны дьяк Никита Моисеевич Зотов.

Четырнадцатилетний Петр, не по летам высокий и плечистый, смотрел семнадцатилетним юношей и тогда уже обещал в будущем быть богатырем. Голицын и бояре с первого взгляда на царевича успели убедиться в том, что в рассказе о нем Троекурова не было ничего преувеличенного. На царе был потасканный полинялый кафтан из зеленой обьяри, обшитый золотым плетеным, сильно поношенным галуном. Из такого же галуна были и нашивки с кистями на груди. Высокие смазные сапоги его были забрызганы грязью. Густые черные кудри были включены и спускались на самые брови. Пот крупными каплями катился по его лицу, пылавшему румянцем здоровья. Но и в лице, и в насупленных бровях выражалось неудовольствие взрослого ребенка, не в пору оторванного от любимой забавы.

Не обращая ни малейшего внимания на поклоны бояр и князя Василия, Петр стремительно подошел к матери, поцеловал ее в руку, потом в щеку и стал рядом с ее креслом, сердито надувши губы и потупившись.

– Садись! – спокойно и твердо сказала ему царица, указывая на кресло, которое подвинули ему сзади стряпчие.

– Могу и постоять – я не устал.

– Приказываю тебе сесть! – повторила тем же голосом Наталья Кирилловна.

И Петр повиновался ей, продолжая твердить вполголоса:

– Да мне некогда сидеть... У меня там работа стоит.

– Князь Иван Борисович, – обратилась царица к Троеурову, – изволь являть князей и бояр государю Петру Алексеевичу.

Троеуров дословно повторил царю то же, что говорил царице, и когда дошел до того, что «бояре просят о допущении их к руке великого государя», то лицо юноши вдруг прояснилось и он, улыбаясь очень добродушно, обратился к матери:

– Матушка, уж этого совсем нельзя – я так прытко бежал сюда по твоему приказу, что не успел и рук вымыть!

И он показал матери свои большие крепкие руки, перепачканные смолою.

Наталья Кирилловна так и всплеснула руками.

– Где это ты так перепачкаться изволил? Как тебе не стыдно!

– Не брани, матушка! Да отпусти скорее... Ей-же-ей – дело есть! Мы там карбус да шняку на Яузе оснащаем. Их мастер из немецкой слободы смолит; а я ему помогаю.

– Успеешь все это и после сделать, ты теперь обязан принять бояр и запросить у них о здравии сестриц и тетушек.

Петр опять насупился, однако ж сказал недовольным тоном:

– Ну как там... все мои сестрицы и тетушки поздорову ли?

Оберегатель отвечал царю теми же обычными фразами, какими отвечал и на вопросы царицы, и Петр уже готов был подняться с места, когда мать, наклонившись к нему, шепнула ему что-то на ухо. Петр вдруг блеснул на князя Василия своими большими черными глазами и спросил в упор:

– Правда ли, князь Василий, что сестра София Алексеевна послов отдельно принимала после нашего приема и к руке их жаловала?

– Истинная правда, великий государь, – отвечал царю князь Василий совершенно спокойно.

Петр, видимо, недоумевающая, зачем его заставили задать этот вопрос, молча переглянулся с матерью.

– А случилось ли то прежде, чтобы царевны отпуски послам давали и к руке их жаловали? – спросила Наталья Кирилловна, обращая на Оберегателя пристальный взгляд.

– Случалось, государыня. Когда супруга великого князя Василия Иоанновича, Елена, была правительницей в малолетстве сына своего, то ей не раз случалось принимать послов. И теперь великая государыня царевна послам давала отпуск как правительница... Притом послы об этом просили и отказать им было бы...

– По-моему, так это не по обычаю... – перебила князя Василия царица и поднялась со своего места, видимо, не желая продолжать неприятный для нее разговор.

Петр также поспешил подняться с места и, обращаясь к матери, сказал:

– Ну что ж?.. Коли послы ее просили!..

Мать строго на него взглянула и сказала сурово:

– Молчи! Ты этого не смыслишь!

И тотчас же взяла Петра за руку и увела с собою во внутренние покои. За ними последовали Нарышкины, Зотов и Троекуров.

Через минуту Троекуров вышел снова и объявил боярам, что царь Петр сейчас вернется и допустит их к руке, а затем просит их к столу своему государскому, а дьяков повелевает угостить дьяку Никите Зотову.

И точно: царь явился вскоре принаряженный, в богатом бархатном полукафтани, в сафьянных сапогах, расшитых золотом и жемчугами. Кудри его были гладко расчесаны и руки тщательно вымыты. Он допустил бояр к руке и затем пошел с ними в столовую палату.

За обедом Петр засыпал бояр расспросами о Крыме, о турках и татарах, о предстоящей войне. Мало-помалу князь Василий овладел беседой и сумел выказать перед юношей-царем с самой выгодной стороны свои обширные сведения и в политике, и в военном деле. Он набросал перед Петром яркую картину того томления и тех страданий, среди которых живут под властью турецкого салтана народы православной греческой веры – и только того и ждут, только тем и утешаются, что когда-нибудь получат отраду и облегчение от русских государей. Затем он намекнул и на то, что Российскому государству война необходима, так как многие люди, а в особенности казаки, ищут и желают службы и без войны даже прокормить себя не умеют. В заключение он сказал, что трудная война, предпринимаемая во славу Божию в союзе с государями европейскими, против общего врага всего христианства, должна будет принести великую честь и хвалу Российской державе.

Петр так внимательно и жадно слушал умную и красивую речь Оберегателя, что на время позабыл даже о своих судах на Язуе. Когда бояре после стола откланялись и простились с царем, Петр, оставшись наедине с Зотовым, сказал ему:

– Мосеич! А ведь князь-то Василий всем взял: и умен, и учен, и говорить горазд...

– Еще бы! Заговорит – заслушаешься! Что твои гусли-самогуды!

– За что же его так матушка не любит и все меня от него остерегает?

– А за то, что он лукавит да руку твоей сестрицы гнет; а кабы не это...

– Так что бы было?

– Кабы не это, так был бы он у тебя изо всего царства первым человеком!

– Все ты врешь, Мосеич. Первый должен быть царь – и никто другой! Ну пойдем на Язуу карбус домазывать.

Х

Минуло лето. В конце августа, следовательно, в конце 194 (1686) года князь Василий поспешил отпраздновать свадьбу Алексея, готовясь в наступающем году к тяжелым воинским трудам и заботам. 1 сентября великие государи и государыня София Алексеевна принимали вместе со всем двором, патриархом и высшим духовенством обычное участие в торжественном праздновании *новолетия*, и вся Москва не без тревоги встретила наступающий новый, 1687 год.

3 сентября на постельном крыльце Теремного дворца сказан был стольникам, стряпчим, дворянам московским и жильцам и «иных всяких чинов ратным людям» указ великих государей и государыни Софии Алексеевны о том, «что хан Крымский имеет намерение приходить войною к их государским Украйным и Малорусским городам», – и по тем вестям указывалось всем быть готовыми к государственной службе.

Точно такие же указы были посланы с нарочными гонцами в уезды Замосковные, Заозерские и на Украйну. Городовые воеводы читали там указы по приказным измам, перед всеми местными начальными людьми, с подобающим внушением, а для большего распространения сведений о сборах в поход в среде народа приказали тот указ биричам выкликать в торговые дни на базарах и на площадях. Из городов рассылались указы по уездам, во все волости и станы, ближние и дальние через воеводских стрельцов, которым поручено было всюду объявлять, чтобы ратные люди к государевой службе готовились, запас полный припасали, коней откармливали, никуда не разъезжались и не отлучались, в ожидании последующего царского указа, по которому, «ничем не отговариваясь и без всякого перевода», все должны были явиться в определенные сборные пункты на коне, с полным доспехом и вооружением. И потянулась та бесконечная канитель, которая называлась в старину *сбором войск в поход* и при необъятных пространствах Русской земли, при отсутствии путей сообщения и укоренившихся привычках самоуправства всяких властей и начальных людей была великим народным бедствием.

В то же самое время на Верху в Теремном дворце ежедневно собиралась царская Дума в полном своем составе и постепенно вырабатывала общий план предстоящей войны, обсуждала, сколько полков нужно набрать, где им собраться, к какому сроку выступить, а главное – откуда взять деньги на жалованье ратным людям и военные расходы. Наконец, в виде особенной милости к Оберегателю, великие государи в одном из наиболее торжественных заседаний Думы лично объявили князю Василию Васильевичу Голицыну о назначении его Воеводою Большого полка, иначе сказать – главнокомандующим над тою стотысячной армией, которую предполагалось собрать и двинуть против татар.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.